

Дмитрий Васильевич Григорович

## Деревня

(Библиотека юношества)

Вот уж правда можно сказать — есть в русской литературе книги, по прочтении которых тебя прошибет конкретный депресняк. И данное издание к таковым относится в полной мере.

В истории рассказывается о жизни крепостной девочки, которая по смерти матери при родах была взята в другую крепостную семью. Девочки, которая за всю свою жизнь не видела ничего хорошего, не услышала ни одного ласкового слова, была самым жесточайшим и бессердечным образом избиваема, унижаема и сжита со свету, которую никто и за человека не считал. Девочка выросла бессловесным существом, ни к чему не приспособленным и мало что умеющим, выдана замуж. В новой семье начался новый виток побоев и унижений, и наконец, заболев чахоткой, она умирает в том возрасте, который сейчас считается самым преисполненным сил.

И всем вокруг, включая самих крепостных, такая жизнь кажется абсолютно нормальной. Эта норма — бесчинствующий управляющий и равнодушный барин, поборы и порка, наушничество и предательство, равнодушие и жестокое избиение детей. Это норма.

Рецензия от serovad

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0015
III.....	.0025
IV.....	.0041
V.....	.0053
VI.....	.0070
VII.....	.0089
VIII.....	.0113
IX.....	.0124



**Дмитрий Васильевич  
Григорович  
Деревня**

*Далеко в глухой сторонушке  
 Вырастала тонка белая береза,  
 Что тонка береза, кудревата,  
 Где не греет ее солнышко, ни месяц  
 И не частые звезды усыпают;  
 Только крупными дождями уливает,  
 Еще буйными ветрами поддувает.  
 Русская народная песня*

**В** одном богатом селении, весьма значительном по количеству земли и числу душ, в грязной, смрадной избе на скотном дворе у скотницы родилась дочь. Это обстоятельство, в сущности весьма незначительное, имело, однако, следствием то, что больная и хилая родильница, не быв в состоянии вынести мучений, а может быть, и просто от недостатка бабки (что очень часто случается в деревнях), испустила последний вздох вскоре после первого крика своей малютки.

Рождение девочки было ознаменовано бранью баб и новой скотницы, товарки умершей, деливших с свойственным им бескорыстием обношенные, дырявые пожитки ее. Ре-

бенок, брошенный на произвол судьбы (окружающие были заняты делом более важным), без сомнения, не замедлил бы последовать за своими родителями (и, конечно, не мог бы сделать ничего лучшего), если б одно из великодушных существ, наполнявших избу, не приняло в нем участия и не сунуло ему как-то случайно попавшийся под руку рожок. Услуга пришлась очень кстати и была, можно сказать, настоящею причиною, определившею судьбу младенца, которая до того времени весьма нерешительно колыхала его между жизнью и смертью. Дележ, совершаемый по всем законам справедливости между однокашницами бывшей скотницы, не успокоил, однако, шумного их сборища; хотя тетка Фекла и уступила скотнице Домне полосатую понёву[1] покойницы за ее изношенные коты[2] (главную причину криков и размирья); хотя завистливая Домна перестала кричать на Голиндуху, завладевшую повязкою и чулками умершей, но наступившая тишина продолжалась недолго и была только предвестницею новой бури.

Теперь каждая из этих достойных женщин

с жаром принялась защищать права свои в рассуждении того, на чью горькую долю должен достаться ребенок, как будто назло им родившийся. Но сколько ни спорили горемычные, ничего не могли решить (чувство справедливости было в них сильно), и потому положили с общего голоса предоставить все судьбе и бросить жребий — способ, как известно, решающий в деревнях всякого рода недоразумения. Жребий, в благодарность за такое доверие, не замедлил, по обыкновению, показать собою пример безукоризненного беспристрастия и справедливости: сиротка пришлась на долю скотницы, которая, не в пример другим бабам, была наделена полдюжиною собственных своих чад.

Домна (так звали новую скотницу), хотя баба норова твердого, или, лучше сказать, ничем не возмутимого, не могла, однако, вынести равнодушно определения судьбы и тут же, зная наперед, сколько бесполезно роптать на нее, внятно проголосила, что жутко будет проклятому пострелу, невесть как несправедливо навязавшемуся ей на шею.

Маленькая Акулина (таким именем окре-

стили малютку) сделалась на скотном дворе с первого же дня своего существования предметом всеобщего нерасположения.

Да и какая, в самом деле, нужда была бабам знать, был ли младенец виною своей докучливости? Довольно того, что он досаждал им поминутно. «Добро бы своя была, — говорили они, — добро бы родная, а то невесть по какого лешего смотришь за нею, словно от безделья». Но хуже всего приходилось терпеть сиротке от самой скотницы. Нельзя сказать, чтоб Домна была женщина злая и жестокая, но день бывал у ней неровен: иной раз словечка поперек не скажет, что бы ни случилось; в другое время словно дурь какая найдется на нее; староста ли заругается или подерется, дело ли какое не спорится в доме — осерчает вдруг и пойдет есть и колотить сиротку. Сором таким лается на нее, что хоть вон из избы беги; все припомнит, ничего не пропустит; усопшую мать не оставит даже в покое и при каждом ударе такого наговорит дочери на покойницу, чего и вовсе не бывало.

Впрочем, необходимо сказать в оправдание Домны, что в грубом обхождении и побо-



ях, которыми угощала она свою питомицу, скрывалась иногда весьма уважительная, добрая цель. В доказательство можно привести собственные слова ее. Однажды жена управляющего застала Домну на гумне в ту самую минуту, когда она безмилосердно тузила Акулю. «За что бьешь ты, дурища, девчонку?» — спросила жена управляющего. «Да вины-то за нею нету, матушка Ольга Тимофеевна, — ответила Домна, — а так, для будущности пригодится». Если найдутся люди, которые, по свойственному им человеколюбию или сострадательности, не захотят видеть в этом доброго намерения, а припишут нападки на сиротку частию жестокости скотницы, то смею уверить их, что даже и тогда нельзя вполне обвинять ее.

Страсть к «битью, подзатыльникам, пинкам, нахлобучникам, затрещинам» и вообще всяким подобным способам полирования крови не последняя страсть в простом человеке. Уж врожденная ли она или развилась чрез круговую поруку — бог ее ведает: вернее, что чрез круговую поруку...

В одном только можно было упрекнуть

Домну, именно в излишнем пристрастии, которое уже чересчур ясно обнаружила она к собственным своим детям. Можно даже сказать, что слепая эта любовь часто заглушала в ней чувство справедливости и всякого рода добрые намерения, оправдывавшие почти всегда пинки и побои, которыми наделяла она сиротку. Случалось ли ребятам напроказить: разбить горшок или выпить втихомолку сливки — разгневанная Домна накидывалась обыкновенно на Акульку, видя в ней если не виновницу, то по крайней мере главную зачинщицу; забредет ли свинья в барский палисадник, и за свинью отвечала бедняжка. Когда муж скотницы, проживавший по оброку в соседней деревне на миткалевой фабрике, возвращался домой в нетрезвом виде (что приключалось нередко), всегда почти старалась Домна натолкнуть на него сиротку, чтоб отклонить от себя и детей своих первые порывы его дурного расположения, — словом, все, что только могло случиться неприятного в домашнем быту скотного двора, — все вызывало побои на безответную Акульку. Вне этих отношений с жителями избы сиротка

проводила детство свое, как и все остальные дети села, в совершенном забвении и пренебрежении. Слово «авось» играет у нас, как известно, и поныне весьма важную роль и прикладывается русским мужиком не только к собственному его житью-бытью, но даже к житью-бытью детей его. Самый нежный отец, самая заботливая мать с невыразимою беспечностью предоставляют свое детище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическом развитии ребенка, которое считается у них главным и в то же время единственным, ибо ни о каком другом и мысль не заходит им в голову. Не успеет еще ребенок освободиться от пелен, как уже поручают его сестре, девчонке лет четырех или пяти, которая нянчится с ним по-своему, то есть мнет и тербит его, во сколько хватает силенки, а иногда так пристукнет, что и через двадцать лет отзовется.

Мать ли плетется с коромыслом на реку стирать белье — и дочка тащится вслед за нею вместе с драгоценною своею ношею; развлеченная каким-нибудь камешком или травкою, она вдруг покидает питомца на кру-

том берегу или на скользком плоте... Бегут ли под вечер ребята навстречу несущемуся с поля стаду — нежная головка младенца уже непременно мелькает в резвой, шумливой толпе; когда наступает сырая, холодная осень, сколько раз бедняжка, брошенный на собственный произвол, заползает на середину улицы, покрытой топкою грязью и лужами, и платится за такое удовольствие злыми недугами и смертью! А весной, когда отец и мать, поднявшись с рассветом, уходят в далекое поле на работу и оставляют его одного-одинохонького вместе с хилою и дряхлою старушонкой-бабушкой, столько же нуждающейся в присмотре, сколько и трехлетние внучата ее, — вот тогда, выскочив из избы, несется он с воплем и криком вслед за ними, мчится во всю прыть маленьких своих ножек по взбороненной пашне, по жесткому, колючему валяжнику; рубашонка его разрывается на части о пни и кустарники, а он бежит, бежит, чтоб прижаться скорее к матери... и вот сбивается запыхавшийся, усталый ребенок с дороги; он со страхом озирается кругом: всюду темень лесная, все глухо, дико; а вот уже и

ночь скоро застигнет его... он мечется во все стороны и все далее и далее уходит в чащу бора, где бог весть что с ним будет... Поминутно слышишь, что там-то утонул ребенок в ушате, что тут-то забодал его бык или проехала через него отцовская телега, что сын десятского отморозил себе ногу, трехлетняя внучка старостихи разрезала серпом щеку двухлетней сестре своей и тому подобное.

Конечно, крестьянская натура крепка, и если ребенок уцелеет, то к зрелому возрасту он превращается почти всегда в дюжего и плечистого парня с железным здоровьем или в свежую, красную девку, во сто крат здоровее иной барышни, с колыбели воспитанной в неге и роскоши; но ведь не всякому посчастливится уцелеть: сколько их и гибнет! Сколько остается на всю жизнь уродами! Трудно найти деревню, где бы не было жертвы беспечности родителей; калеки, слепые, глухие и всякие увечные и юродивые, служащие обыкновенно предметом грубых насмешек и даже общего презрения, — в деревнях сплошь да рядом! Притом между крестьянскими детьми нередко встречаются нежные натуры,

которые если и выдерживают детство, зато сохраняют во всем существе своем пагубные следы его надолго — на всю жизнь.

Обремененные наследственными недугами, больные и слабые, они считаются в родной семье за лишнюю тягость и с первых лет до того дня, когда оканчивают тихое, бездейственное поприще свое на земле в каком-нибудь темном углу избы, испытывают одно только горе, приправляемое ропотом окружающих и горьким сознанием собственной своей бесполезности.

К счастью, Акулина не принадлежала к последней категории, и Домна могла употреблять ее с пользою в многочисленных занятиях скотного двора. Едва сиротке минул седьмой год, тотчас же приставила она ее смотреть за барскими гусями и утками.

*Как чужие-то отец с матерью  
Безжалостливы уродились:  
Без огня у них сердце разгорается,  
Без смолы у них гнев раскипается;  
Насижусь-то я у них, бедная,  
По конец стола дубового,  
Нагляжусь-то я, наплачуся.  
Русская песня*

Осень. На дворе холодно; частый дождь превратил улицу в грязную лужу; густой туман затянул село, и едва виднеются сквозь мутную сквознину его ветхие лачуги и обнаженные нивы. Резкий ветер раскачивает ворота и мечет по поляне с каким-то заунывным, болезненно хватающим за сердце воем груды пожелтевших листьев. Улица пуста — ни живой души. Сизый дымок, вьющийся из низеньких труб избушек, свидетельствует, что никого нет в разброде, что все хозяева дома и расправляют на горячей печке продрогшие члены. Все живущее прячется кто куда может, лишь бы укрыться от холода и ненастья. Куры и голуби приютились на своих

жердочках под навесом, завернув голову под тепленькое крылышко; воробей забился в мягкое гнездо свое; даже неугомонные шавки и жучки комком свернулись под телегами. Каждому готов уют, каждому и хорошо и тепло...

Изба скотницы Домны жарко-нажарко на-топлена; вся семья дома; даже теленок, которого откармливают для барского стола, привязан заботливою Домною к печке и опустился на мокрую свою солому. Двое парнишек ее, вместе с бабушкою и любимую кошкою, давно забрались на полати. Другие два шумно возятся под лавками. Дождь стучит в узкие стекла окон, ветер свищет на дворе и улице, и по временам все стихает в избе, прислушиваясь к дребезжащему, протяжному вою. Одной только Акули что-то не видно: ее послали на реку стеречь уток.

Возвращается она наконец к обеду домой. Издали виднеется ей почерневшая от воды лачуга, но сиротка не спешит укрыться от холода под теплую ее кровлю; она со страхом и смущением приближается к ней. Дело в том, что одного утенка унесло течением реки в ко-



лесо мельницы. Между тем как подходила она к дому, на скотном дворе, как нарочно, затеялся жаркий спор между Домною и Голиндухою. Здесь дело было уже вот в чем: кто-то из ребят скотницы стянул лапоть Голиндухи, прислоненный к печке для просушки, и, привязав к нему бечевку, стал возить его по полу. Голиндуха, занимавшаяся в то время выпариванием квасной кадушки, неоднократно кричала на ребенка, приказывая ему тотчас же поставить обувь на прежнее место; ребенок не слушался и, как бы назло, начал колотить лаптем во все углы избы. Выведенная наконец из терпения баба бросила работу, отвесила озорнику добрую затрещину и, вырвав обувь, положила ее на печку.

Домна, все видевшая и еще прежде чем-то раздосадованная, не вынесла выходки Голиндухи.

— Куда лапоть-то поганый свой ставишь? — сказала она, выглянув вдруг из-за перегородки. — Места ему небось нету?.. Эка нашлась какая прыткая... словно барыня — дратья еще вздумала...

— А что, невидаль, что ли, какая?.. Барские

дети-то твои, что ль? Вестимо бить стану, коли балуются...

— А ну-тка, сунься...

— Тебя, небось, послушалась?..

— Ах ты, собака этакая...

— Сама съешь...

— Чтоб тебе подавиться лаптями-то...

— Эй, Домна, не доводи до греха; у тебя уста, у меня другие.

— Плевать мне... А вот только тронь еще раз Ванюшку, так посмотришь...

— Да ты, в самом-то деле, что ты тычешь мне своими ребятами-то?..

— А ты что?..

— Да...

— Побирушка проклятая!.. И мать-то твоя чужой хлеб весь век ела, да и тебя-то Христа ради кормят, да еще артачится, да туда же лезет... Ах ты, пес бездомный! Ну-ткась, сунься, тронь, тронь...

Домна и Голиндуха, с покрасневшими лицами, вылупившимися глазами и поднятыми кулаками, подступали уже друг к другу, когда в избу вбежала вдруг Машка, старшая дочь скотницы.

— Мамка! Мамка! — голосила девочка. —  
Глядь, глядь... Акулька-то одного утенка за-  
гнала... одного утенка нетути.

— Как! — вскричала исступленная Домна,  
мгновенно обращая свою ярость на только  
что вошедшую сиротку. — Ах ты, проклятая!  
Сталось, тебе неслюбно смотреть за ними?..  
Постой, вот я те поразогрею...

И она пошла на помертвевшую от страха  
девчонку с готовыми кулаками.

Страх, в котором держала скотница свою  
питомицу, часто даже исчезал в ребенке от  
избытка горя. Так случалось почти всякий  
раз, когда Домна, смягчившись после взрыва  
необузданной ярости, начинала ласкать и  
нежить собственных детей своих. Громко раз-  
давались тогда за печуркою рыдания и всхли-  
пывания одинокой, брошенной девочки...

Много слез и горя стоило также Акулине  
новое назначение, определенное ей скотни-  
цею. Выгоняя утром гусиное стадо, проходила  
она по улице — всюду встречались весе-  
лые ребятишки, беззаботно игравшие под на-  
весами и на дороге, всюду слышались их весе-  
лые песни, крики; одна она должна была про-

ходить мимо, не смея присоединиться к ним и разделить общую радость. А уж как страшно-то было ей, боязливой девочке, напуганной разными дивами, проводить целые дни одной-одинешенькой, далеко от села, в каком-нибудь глухом болоте или темном лесу! В первое время она часто не могла вынести своего одиночества и, бросив тут же гусиное стадо свое, возвращалась одна на скотный двор, позабывая и побои скотницы, и все, что могло ожидать ее за такой своевольный поступок.

Кроме этого, сколько приходилось терпеть безответному ребенку в самом доме. Вернется, бывало, вместе со стадом в избу — на дворе стужа смертная, вся она окоченела от холода, — ноги едва движутся; рубашонка забрызгана сверху донизу грязью и еле-еле держится на посиневших плечах; есть хочется; чем бы скорее пообедать, закутаться да на печку, а тут как раз подвернется Домна, разгневанная каким-нибудь побочным обстоятельством, снова ушлет ее куда вздумается или, наконец, бросит ей в сердцах кусок хлеба, тогда как другие все, спустившись с полатей, располагаются вокруг стола с дымящимися щами и

кашею.

Забьется Акуля в любимый уголок свой у печки, между лукошками и сором, закроет личико исхудавшими пальчиками и тихо, тихо плачет. Но прошел год, другой, и свыклась Акулька со своей тяжкою долею. Какое-то даже радостное чувство наполняло грудь девочки, когда, встав вместе с зарею, раным-рано, вооружась хворостиною, выгоняла она за околицу свое стадо. Теперь, уже не ожидая намека, спешила она убраться со своими гусями и утками в поле, лишь бы только скорее вырваться из избы. Как птичка, встрепенется она тогда; все изменялось в ней: движения делались развязнее, стан выпрямлялся, — словом, трудно было узнать в сиротке одну и ту же девочку. Робкий и жалкий вид, так резко отличавший ее дома от прочих детей, как бы мгновенно исчезал. Бывало даже на Акулю находил в эти минуты вдруг какой-то припадок веселости, резвости.

Она особенно любила загонять свое стадо в густую осиновую рощу, находящуюся почти на самой границе земель, принадлежащих селу. Ей невыразимо легко, весело, привольно

было просиживать тут с утра до вечера. Тут только запуганный, забитый ребенок чувствовал себя на свободе.

Перед нею широко стлался зеленый луг; медленно и плавно расхаживали по нем белые, как снег, гуси; селезни и пестрые утки, подвернув голову под сизое крылышко, лежали там и сям неподвижными группами. Далее сверкала река со своими обрывистыми берегами, обросшими лопухом и кустарниками, из которых местами выбивались длинные сухие стебли дикого щавеля и торчали фиолетовые верхушки колючего репейника. За рекою виднелось черное взбороненное поле; далее, вправо, местность подымалась горою. По главным ее отлогостям, изрезанным промоинами и проточинами, разрастался постепенно все выше и выше сосновый лесок; местами рыжее, высохшее дерево, вырванное с корнем весеннею водою, перекидывалось через овраг висячим мостом. Влево тянулось пространное болото; камыш, кочки и черные кустарники покрывали его на всем протяжении; по временам целые вереницы диких уток с криком поднимались из густой травы и носились над

воду. Там и сям синевшая холмистая даль перемежалась снова серебристыми блестящими реки.

Бесконечная сереющая даль, в которой двигались почти незаметными точками телега или спутанная лошадь, постепенно синела, синела, и, наконец, все более и более суживавшиеся планы ее сливались мутною линией со сквознотою голубого неба.

Но природа нимало не пленяла деревенской девочки; неведомо приятное чувство, под влиянием которого находилась она, было в ней совершенно безотчетно. Случайно ли избрала она себе эту точку зрения, лучшую по всей окрестности, или инстинктивно почувствовала обаятельную ее прелесть — неизвестно; дело в том, что она постоянно просиживала тут с рассвета до зари.

Разве выводили ее из раздумья однообразное кукованье кукушки, крик иволги или коршуна, который, распластав широкие крылья свои, вдруг, откуда ни возьмись, кружась и вертясь, появлялся над испуганным ее стадом. Акуля вскакивала тогда, бледное личико ее покрывалось ярким румянцем; она начи-

нала бегать и суетиться, хмурила сердито узенькие свои брови и, размахивая по сторонам длинною хворостиною, казалось, готовилась с самоотвержением защищать слабых своих питомцев.

Наступал вечер. Поля, лощина, луг, обращенные росой и туманом в бесконечные озера, мало-помалу исчезали во мгле ночи; звезды острым своим блеском отражались в почерневшей реке, сосновый лес умолкал, наступала мертвая тишина, и Акуля снова направлялась к околице, следя с какою-то нерябческою грустью за стаями галок, несшихся на ночлег в теплые родные гнезда.

С возрастом, по мере того как сиротка становилась разумнее, постоянное это одиночество обратилось не только в привычку, но сделалось для нее потребностью. Оно было единственным средством, избавлявшим ее от побоев скотницы и толчков встречного и поперечного. Всеобщее отчуждение, которое испытывала она со стороны окружающих, как круглая сирота, и которое с некоторых пор как-то особенно тяготило ее, также немало способствовало подобному расположению.



*Вьюги зимние,  
Вьюги шумные  
Напевали нам  
Песни чудные!  
Наводили сны,  
Сны волшебные,  
Уносили в край  
Заколдованный!  
Кольцов*

Постоянное отдаление Акули от жителей Пскотного двора и одинокая жизнь производили на ее детство сильное влияние. Прежде еще, когда неотлучно оставалась она при людях, приластится, бывало, к тому, к другому или вымолвит ласковое слово, невзирая на толчки, которыми часто отвечали ей на ласки; теперь же едва успеет вернуться с поля, как тотчас забьется в самый темный угол, молчит, не шевельнется даже, боясь обратить на себя внимание. Каждый раз, когда достойные всякого сострадания гуси, продрогнув от холода, располагали идти восвояси, а следовательно, доставляли и сиротке случай

погреться, она входила в избу с каким-то страхом, смущением, трепетом — чувствами, проявлявшимися прежде не иначе как вследствие приключавшегося с нею несчастья.

Ребенок одичал наконец до того, что раз без особенной причины целых трое суток кряду не возвращался домой со своим стадом; голод только мог вынудить его покинуть поля и рощу.

Первое зазимье и морозы возвращали, однако, волею-неволею полуодичалую сиротку на скотный двор.

В это время года, когда все, от мала до велика, не исключая даже домашних животных, столпляются вместе под одною и тою же кровлею, — она снова сближалась несколько с семейством скотницы.

Зимою образ жизни в избе как-то всегда собирает разбредшихся поселян воедино.

Многочисленность семьи, тесное, неудобное помещение, работа, делающаяся в эту пору более общою, домашнею, — все это, вынуждая каждого входить теснее в отношения другого, невольно сродняет их между собою.

Хотя Акуля действительно сблизилась зи-

мою с жителями скотного двора, однако сближение это у ней было более внешнее, нежели нравственное.

Робкий и тихий нрав девочки, притом постоянно грубое обхождение, которому она подвергалась, — все это должно было отталкивать ее от задушевных с ними сношений.

Одни рассказы и каляканье, на которые год тому назад не обращала она ни малейшего внимания и которые теперь, с двенадцатилетним возрастом, как-то особенно начали возбуждать любопытство, присоединяли иногда ее к общему кругу.

В длинные зимние вечера изба скотницы Домны, как почетной гражданки села, наполнялась соседками и кумушками, заходившими покалякать о том о сем, о делах того или другого.

Усядутся, бывало, в кружок, кто на лавке, кто попросту — наземь, каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или коклюшками[3], и пойдут и пойдут точить лясы да баить про иное, бывалое время.

Сначала все сидят молча — никто не решается перекинуться словом. В избе стихнет. Ве-

ретенна гудят, трещит лучина, сверчок скрипит за подполищею, или тишина прерывается плачем которого-нибудь из малолетних ребят скотницы, проснувшегося внезапно на полатах от тяжкого сновидения.

Но потом мало-помалу гости оживляются, всё в избе принимает участие в рассказах, и каждый в свою очередь старается вставить красное словцо. Даже девяностолетняя мать Домны изменяет вечно лежащему своему положению и, свесясь с печки, прислушивается одним ухом к диковинным рассказам соседа.

Чем далее, тем речи становятся бойчее и бойчее. То Кондратьевна, старуха бывалая, слывшая по деревне лекаркою и исходившая на веку своем много — в Киев на богомолье и в разные другие города, — приковывает внимание слушателей; то тетка Арина, баба также не менее прыткая и которая, как говорили ее товарки, «из семи печей хлебы едала», строчит сказку свою узорчатую; то, наконец, громкий, оглушающий хохот раздаётся вслед за прибаутками другой, не менее торопливой кумы. Много разных разностей говори-

лось на засидках у Домны. Бабий язык, как известно, и смирно лежит, а уж как пойдет вертеться, как придет ему пора, — так что твои три топора — и рубит, и колет, и лыки дерет! Примерно, хоть тетка Арина уж как начнет раздобаривать, так нагородит такого, что и ввек речи ее в забыть нейдут. Иной раз так настрашает, что все только и знают — крестятся да исподлобья на стороны поглядывают; про девок и говорить нечего: мертвецы мертвецами сидят — хоть в гроб клади! Куда мастерица была всякое диво размазать. Да вот, раз речь зашла о том, что значит в добрый час молвить, а что в худой; так она такое приплела, что сколько ни слушало народу — так вот и повскакало с лавок.

— Вот, — говорит, — бывают такие неразумные бабы из нашего брата, что за пустое корят да хают детей своих самыми недобрыми словами, «анафема» скажут, или «провались ты», или «возьми тебя нечистый». Оно, кажется, — ничего, ан глядь — и во вред ребенку ложится такое злое слово; долго ли накликать беду!

«Так-то прилучилось у нас с Дарьею, сно-

хою Григорья. Пришла она с поля, сердечная; устамши, что ли, была или другое что, господь ее ведает, только и завались она прямо на полати. Мальчишка-то у ней дома в люльке лежал; вот, как словно назло, расплакался на ту пору. Зачала Дарья унимать его. Унимала, унимала — нет, ревет себе знай; куда осерчала наша Дарья; встать, вестимо, не хочется — поясницу больно поразломило, — тут недобрый стих и найди на нее: „Непутный, говорит, возьми тебя нечистая сила“. Парнишка как будто к слову такому вдруг и затих; Дарья обрадовалась, повернулась на другой бок, подкинула под себя мужнину овчину, да и завалилась спать. И молитвы даже не сотворила она над младенцем после такого слова — уж так, верно, дрема взяла ее, сердечную.

А слово-то, видно, сказано было не в добрый час.

Спит Дарья. Вдруг стало ей что-то неладно; так вот к самому сердцу и подступает, инда в пот кинуло. Она обернулась от стены к люльке, взглянула вполглаза на ребенка, — смотрит... подполица расступилась надвое, и, от-

коль ни возьмись, выходит большущая женщина, вся в белом закутана... вышла, да прямо к люльке, и протягивает руки к парнишке, норовит взять его...

Дарья испугалась, не зная куда и сон девался; и вскрикнуть-то ей хочется, не может, вся словно окоченела; а белая женщина все ближе да ближе протягивает руки... видит Дарья, что достала она парнишку-то, да и взяла к себе на руки...

Месяц в ту пору вышел и светит к ней в избу — словно днем, — видным-виднешенько.

Вспомнила Дарья свой великий грех; так в голове все и завозилось у ней; как взвизгнет!.. Враг его знает, как это сталося, — все сгнуло разом; Дарья вскочила с полатей да прямо к люльке; глядь — а парнишка-то лежит себе мертвешенек; головка просунута в веревку, на которой висит люлька, и ручонками-то ухватился за нее; весь посинел — зная, уж нечистая сила больно вздосадовала на Дарью да и удавила его. Вздудли лучину, — и так и сяк, и туда и сюда, и отец-то прибежал, и все-то в доме, кто был, подскочили — нет, ничем не помогли. Как ни убивалася Дарья, да, вид-

но, не на шутку стряхнулось на нее горе — пришлось хоронить парнишку!»

Акуля более всего напрягала внимание, когда речь заходила о том, каким образом умерла у них в селе Мавра, жена бывшего пьяницы-пономаря, — повествование, без которого не проходила ни одна засидка и которое тем более возбуждало любопытство сиротки, что сама она не раз видела пономариху в поле и встречалась прежде с нею часто на улице. Кончину Мавры объясняли следующим образом.

Однажды пономариха отправилась было за грибами в дремучий бор (которого, между прочим, вовсе и не было в селе или окрестностях). Не успела она поднять трех рыжиков, вдруг слышится ей, что кто-то перекликается между деревьями. Вот она и стала прислушиваться: все словно как будто опять стихло, лист не шелыхался. Мавра снова стала искать грибы, набрала их без малого до верху котомки да идет на дорогу, чтоб скорее к дому; а не тут-то было. Леший и перекинись ей поперек пути... Ходила, ходила пономариха, плутала, плутала: куда ни ступит, куст да трава,



а проселка-то и не видать, словно сгинул; а ауканье-то в лесу все сильнее да сильнее... Что далее было, то неведомо; а вот на другой день раным-рано, с рассветом, Гаврюшка-конторщик, возвращаясь из города с барскими письмами, видит, на самой меже белеется что-то: пень не пень, камень не камень; глядь, ан Мавра-то и лежит навзничь; и руки посинели, и тело-то все избито, и понёва разодрана... Думал, думал Гаврюшка, да делать, видно, нечего было; не оставить же так тела христианского на съедение волкам: он взвалил его на телегу, да и привез в село прямо к мужу. Мавра очнулась только к вечеру, да будто язык у нее отнялся, слова не молвит. Пономарь был в ту пору буявый, навеселе: давай выпытывать по-свойски жену. Уж он ее колотил, колотил, бил, бил куда ни попало, в голову, и в грудь, и в спину, лишь бы не мимо; Мавра все ни гугу; а на третий-то день, глядь, и душу отдала — померла, родимая; знать, уж так суждено ей было, сердечной, али сама в чем виновата была, что подпустила к себе нечистую силу. Вестимо, коли душа чиста, так и злой дух тебя не тронет.

Далее словоохотливая рассказчица распространялась обыкновенно о том, как вообще мертвецы ненавидят живых людей за то, что последние остаются на земле как бы взамен их и пользуются всеми мирскими благами и удовольствиями. Она присовокупляла, тут же в доказательство справедливости слов своих, что всем известный кузнец Дрон вскоре после смерти стал являться в селе, пугал всех, и что кума Татьяна сама, своими глазами, видела его раз за барским овином.

Акулина притаивала дыхание, и сердце ее стучало сильно-сильно, когда Кондратьевна, старая лекарка, подтверждала все это, уверяя даже, что Дрон, злобствовавший на нее еще при жизни, действительно являлся в селе, бывал у ней в избе, переходил из окна в окно, из ворот в ворота, шарил по всем углам и аккуратно выпивал у ней каждую ночь в погребе сливки. Она рассказала, что вскоре после того, как пали у нее две коровы, рыжонка и белянка, кузнец Дрон перестал таскаться по деревне, и объясняла чудо тем, что брат тогдашнего старосты, Силантий, раздосадованный, вероятно, ночными проказами кузнеца и же-

лая вконец отвадить беду, раскопал его могилу, положил тело грешника ничком и вбил ему в спину длинный-предлинный осиновый кол.

Слушая все эти чудеса, Акуля едва от страха переводила дух; то замирало в ней сердце, то билось сильно, и не раз в вечер личико ее покрывалось холодным потом. По временам ослабевший свет лучины вдруг угасал от невнимания присутствующих, развлекаемых интересными повествованиями и рассказами, и тогда бедному ребенку казалось, что вот-вот выглядывает из-за печурки домовой, или, как называют его в простонародье, «хозяин», или всматривается в нее огненными глазами какое-то рогатое, безобразное чудовище; все в избе принимало в глазах ее страшные образы, пробуждавшие в ней дрожь. Засидки баб длились иногда за полночь. Истомленная Акуля, несмотря на возрастающее любопытство и усилия избавиться от дремоты, более и более покорялась, однако, ее влиянию; русая головка ее медленно склонялась на плечо, глаза смыкались, и она засыпала, наконец, крепким сном. Часто слух

ее как будто прояснялся, между тем как вся она оставалась в том расслабленном состоянии, похожем на летаргию, и внятно слышались ей тогда отрывистые речи гостей скотницы, долго еще за полночь толковавших о деяниях одноглазого лешего, чужого домового, моргуньи-русалки, ведьмы киевской и сестры ее муромской, бабы-яги костяной ноги и птицы-гаганы...

Все эти диковины, которые с таким любопытством выслушивала Акуля в продолжение зимы, сильно распаляли ее воображение. Но робкий нрав ребенка, притом всегдашний гнет, под влиянием которого находился он, и, вдобавок, грубые насмешки, с которыми встречены первые его попытки высказать окружающим все, что лежало на сердце, невольно заставили его хоронить в себе самом свои впечатления и не выбрасывать их наружу. Такое сосредоточивание в себе своих мыслей и ощущений, какого бы они ни были свойства, должно было развить рассудок девочки несравненно скорее, нежели бы это могло случиться при других обстоятельствах. Впрочем, в жизни сиротки являлись случаи,

когда она разом высказывала все, что по целым месяцам мало-помалу накоплялось в голове ее. Это бывало не иначе, однако, как когда удавалось ей попасть в кружок людей совершенно сторонних, не принадлежащих даже к вотчине.

Калики и побирушки перехожие, заносимые иногда бог знает каким ветром в их деревню, чаще всего доставляли Акуле подобные случаи.

Когда две или три такие старушонки, преследуемые с остервенением по всей улице во ем и лаем собак, останавливались перед окнами скотного двора, затягивая тощим голосом обычную свою стихиру:

*Семь, семь кралей,  
Семь кесарей  
Пошли, пришли поклониться  
Христу-спасителю...  
Подайте, отцы родные, милостинку  
Во имя Христово...*

Акуле уже не сиделось на месте, так ее и подмывало. Всегда почти находила она случай выбежать вон из избы. Она пряталась

сначала в куриный хлев, чтоб отстранить подозрения скотницы, потом потихоньку проползала в узкое отверстие между плетнем и землею и вырывалась на свободу. Она пускалась тогда во всю прыть по задним дворам, перескакивала гряды капусты и огурцов, огибала огороды, господскую ригу и, наконец, вся впопыхах останавливалась за околицею. Тут Акуля, прислонившись к старой высокой рябине, с трепетом ожидала минуты, когда нищенки выйдут из села. Осмотревшись кругом и убедившись, что никто не следует за нею, решалась она присоединиться к ним. Тогда между каликами и Акулею завязывался разговор. Те, как водится, начинали с расспросов о том, есть ли в селе барин, строг ли с мужиками, есть ли барыня и барчонки, о том, кто староста, стар ли, молод ли он; потом мало-помалу объясняли Акуле, что вот-де они ходят из села в село, собирают хлебец да копеечки во имя Христово, заходят в монастыри, бывают далече, в Киеве и Иерусалиме, на богомолье и что, наконец, жутко приходится им иногда жить на белом свете. Акуля внимательно следила за каждым словом старушек: ей так ред-

ко удавалось слышать ласковую речь! И вот, обрадовавшись случаю, она расспрашивала их и о Иерусалиме, и о городах, и о том, так ли живут там, как в селе, есть ли также церковь и будет ли она в вышину равняться с большим вязом, разросшимся вон там, далеко-далече у них на погосте, и т. д. Расспросам не было конца.

Сиротка вспомнила наконец, что зашла далеко; села не было видно; побои и ругательства тотчас же мелькали в голове ее. Скрепя сердце она прощалась со своими спутницами и снова пускалась во всю прыть по дороге. Между тем сколько новых впечатлений волновали душу бедного ребенка! Как часто останавливалась она в нерешимости, сама не зная, бежать ли ей вперед, к дому, или назад вернуться и не разлучаться более с добрыми каликами перехожими... Но страх брал обыкновенно верх, и сиротка принималась снова бежать к старой рябине, осенявшей околицу села.

Трудно сказать, о чем могла думать тогда деревенская девочка, но дело, однако, в том, что при постоянном одиночестве и самозаб-

вении рассудок ее не мог никоим образом  
оставаться в совершенном бездействии...



## IV

*Так и рвется душа  
Из груди молодой!  
Хочет воли она,  
Хочет жизни другой!  
Кольцов*

**М**уж Домны, являвшийся домой только по праздникам, неизвестно отчего оставил вдруг миткалевую фабрику, на которой работал несколько лет сряду, и переселился с своим станом к жене на скотный двор.

Обстоятельство это сильно озадачило Домну: она предвидела все хлопоты и заботы, которые упадут на нее с такою переменою.

Карп начал с того, что потребовал себе помощницу; потом, волею-неволею, должны были уступить ему чуть ли не половину избы, без того уже загроможденную корчагами, лагунами, крынками, кадками и лукошками; далее предчувствия Домны также не обманули ее: Карп на следующий же день натянулся сивухи, должно быть, припасенной им заранее, и задал таску всем, кто только попадался ему на глаза; досталось и самой хозяйке дома.

А отвадить беду, избежать всех этих неприятностей не было возможности, ибо, как выразалась сама скотница, Карп не терпел ни в чем супротивности. «Ладно, — говорила она бабам, упрекавшим ее в слабости, — поди-тка, сунься перечить ему, так, кажись, только и жил; закажу другу-недругу». Домна не упала, однако, духом; она как можно скорее, чтоб только усадить мужа за работу, назначила ему помощницу. Такая завидная доля, разумеется, могла пасть не иначе как на Акулину, девку самую безответную, смирную и притом более других приученную к повиновению.

Карп был мужик крутой и неговорчивый. Некоторые барыши, получаемые им сверх оброка, и разгульная фабричная жизнь сделали из него, особенно в последнее время, горького пьяницу и еще более расположили к буйству. И трезвый-то никому добром не промолвит — лается, словно собака, а как почнет пить — так лучше беги из дому вон. Сам сознавался Карп, что бывал во хмелю куда неутомонен. Уж чего ни делали с ним: и знахаря-то призывали заговорить его против хмеля, и Кондратьевна не раз изощряла свои знания в лекар-

ском деле, и управляющий секал Карпа, больно секал, — нет, встряхнет, бывало, Карп забубенною, непутною своей головушкой, когда окончится экзекуция, да вымолвит: «Покорно благодарю, Андрей Андреевич, что дурака учить изволите», и снова принимается за кошку. Ничто не помогало!

С первых же дней житья от него в доме не стало; заходит ли кто из соседей или соседок в избу — подымались брань, ссоры, нередко кончавшиеся даже дракой, так что вскоре никто и не стал заглядывать к скотнице. Сама она, подверженная беспрерывно буйным выходкам мужа, сделалась как-то еще сварливее, заносчивее и с большим еще остервенением взъелась на все окружающее.

Трудно выразить отчаяние горемычной сиротки; новое назначение не только лишало ее свободы, но даже неотлучно подчиняло Карпу, к которому еще сызмала чувствовала она особенный страх.

Вначале старалась она всеми силами угождать ему; но усердие ее оставалось решительно незамеченным. Иногда без всякой причины (и это случалось всего чаще) прихо-

дилось терпеть; нитка ли порвется, защемит ли Карп челноком палец или просто случится повздорить ему с женою — колотит ее, благо она под рукою! Молча покорилась наконец бедная девушка горькой своей участи. Прошло несколько месяцев, и Акулина, как бы накануне своего заточения, не переставала тосковать по прежней своей беззаботной одинокой жизни. С наступлением лета изба и ее жители становились сиротке еще нестерпимее. Все оживало вокруг нее, все как будто радовалось. Едва заблистают первые лучи солнца в окнах избы, зазолотятся свежие, подернутые росой поля и раздастся звонкое чиликанье воробьев на кровле, все, от мала до велика, спешили вырваться из душной избы. Бабы шли в огороды, ребята и девки целыми ватагами отправлялись в только что опушившийся лес за первыми ягодами — одна она не смела шевельнуться с места и должна была сиднем сидеть за пряжею и шпулями. К вечеру или обеду вернутся веселые толпы на дом, натащат полную избу венков да молодых ветвей; разольется по всей избе запах свежей зелени... Сколько грусти ложилось тогда на ду-

шу сиротки, сколько тайных, никому не известных страданий теснило ее, бедную!..

Иногда удавалось Акулине вырваться под каким-нибудь предлогом на минуту из дому; не нарадуется, бывало, своему счастью, не утерпит — выбежит за ворота, и грусть как бы исчезнет, и тоска сойдет с сердца.

И вправду, хорош и упоителен божий день в ведренное, теплое лето; какое ликование во всей природе, во всем мире! Все трепещет жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растение издает какой-то шелест, сливающийся в стройную, нежную гармонию; все, на что устремляются взоры, наполняет душу радостным, непостижимо прекрасным чувством. С жадностью вдыхала Акулина в расширявшуюся грудь свою пахучие струи воздуха, приносимые с поля; всматривалась она тогда в зеленеющий луг, забрызганный пестрыми цветами, в эту рощу, где беззаботно, счастливо даже просиживала она когда-то по целым дням, с красной утренней зари до минуты, когда последние бледные лучи заходящего солнца исчезали за сельским погостом. Но непродолжительны были такие ми-

нуты: как раз грубый голос Карпа возвращал ее к горькой действительности. Скрепя сердце подходила она к воротам; а между тем вдалеке, по улице, с веселыми песнями и кликами неслись купаться целые рои молодых девок: все, кто только был молод из них по деревне, спешили присоединиться к веселой толпе, и одна только Акулина-сиротинка утирала слезу да спешила запереть за собою дверь тесной, душной лачуги...

Бывают случаи в жизни человека — к какому бы ни принадлежал он классу общества, — которые хотя и кажутся с первого взгляда ничтожными, не стоящими внимания, но со всем тем они часто решают судьбу его или же производят в нем сильные перемены нравственные. Иногда так нечувствительно бывает их действие, что само лицо, на которое они стряхиваются, не замечает его.

Раз как-то (это было в самую страдную пору лета) большая часть жителей села Кузьминского отправилась в соседнюю деревню праздновать, как водится между соседями, приходский праздник. На всем скотном дворе осталась одна только Акулина. День был

невыносимо зноен; душно было ей сидеть под навесами, и она вышла за ворота. Деревня словно вымерла, все было тихо, нигде живой души. Акулина перелезла через околицу и почти машинально своротила на проселок, огибавший бесконечное поле ржи, только что золотившейся от цвета. Солнце горело высоко и знойно. Пот градом катился по исхудавшим щекам сиротки, а между тем она все шла да шла вперед, влекомая каким-то странным чувством. В поле, в роще, в воздухе царствовало безмолвие; ничто не шелыхалось, не отзывалось жизнью; кузнечик приутих и не трещал в тесной траве; даже гибкие длинные стебли дикого чеснока с их тучною верхушкою стояли неподвижно на закраине дороги. Густой пар подымался от земли и растений, и душно было в переливающихся струях воздуха.

Акулина миновала поле и почти незаметно очутилась близ церкви, на погосте. Вырытая свежая яма, на которую она случайно набрела, вывела ее из раздумья. Дрожь пробежала по всем членам сиротки; ей стало страшно; безотчетное чувство, которого,

впрочем, никак никогда не могла она победить в себе, обдало ее холодом. Акулина бросилась бежать. Она уже была на самом почти конце кладбища и вдруг как вкопанная остановилась перед одною заросшею могилкою, едва выглядывавшею из-за плетня, ограждавшего церковь. Акулина вспомнила, что давно, много лет назад, на Фоминой неделе, во время поминок, кто-то сказал ей, что тут погребена ее мать.

Была ли она задолго еще перед тем под влиянием грустного чувства, тяготило ли ее, более чем когда-нибудь, одиночество или была другая какая причина, но только вся жизнь, все горести, вся судьба ее прояснились, пробудились и разом отозвались в ее сердце; в эту минуту с мыслью о матери как бы впервые сознала она всю горечь тяжелой своей доли. Она долго стояла в каком-то оцепенении; слезы ручьями текли по бледным щекам ее и капали на руки, на грудь, на рубашку... Наконец горе Акулины разразилось и как бы сломило ее... болезненное рыдание вырвалось из груди; она грохнулась грудью на тощую могилку и, судорожно обхватив ее



руками, осталась на ней без движения...

Вечерело. Домна вместе с ребятами и работниками возвратилась домой после соседней пирушки. Входя в избу, крайне удивлены были они, не видя Акулины, ибо ни на дворе, ни подле амбаров, ни даже под навесами ее также не встречали. Изба была пуста. Только куры, как видно, уже влетевшие давно в растворенные настежь двери, бегали по столам и лавкам. Скотница и работницы начали шарить по всем углам избы, как вдруг совершенно неожиданно услышали за печкою вздохи. Домна взгромоздилась на ушат и чуть не вскрикнула от изумления. Акулина, закутав голову овчинным тулупом и как-то сверхъестественно скомкавшись, лежала навзничь в тесном, неуклюжем углу между печкою и стеною. Это обстоятельство тем более удивило Домну, что никогда не случалось ей видеть, чтоб с сироткою было что-нибудь подобное.

Скотница подошла ближе и стала толкать ее что есть мочи. Ее старания оставались, однако, без всякого действия. Удивление присутствующих возрастало с каждою минутой.

Домна, выведенная наконец из терпения, вытащила Акулину на середину пола, прислонила ее к скамье и раскутала ей голову.

— Что буркалы-то выпучила? — сказала она, принимаясь снова тормошить девку. — Столбняк нашел, что ли? Ну, чего смотришь, как шальная какая?.. Встань, говорят тебе... эх-ма! Ишь как ревет, полоумная... словно махонькая какая... право-ну... Ах ты, дура, дура!.. Вишь, как рубашку вымочила слезами-то своими глупыми... Пошла, просушись... скотина ты этакая... право-ну...

Акулина, очнувшись совершенно, вскочила с земли, закрыла лицо руками и как угорелая, качаясь из угла в угол, потащилась вон из избы.

Несколько дней спустя после этой сцены обыватели скотного двора заметили большую перемену в сиротке. «Что с ней? Эка расторопная вдруг стала! — говорили они. — Отколе прыть взялась? Словечка не вымолвит, а работает куды против прежнего — словно приохотилась к делу». Они единогласно утверждали, что впрок пошли девке побои, что наконец-то обратили они ее на путь истинный.

И действительно, что-то странное произошло во всем существе Акулины.

Действия и движения ее стали обозначать более сознания и обдуманности, нежели случайности; она как бы разом обрела и силу воли, и твердость характера. Преимущества, которыми пользовались перед нею остальные жители избы и которые прежде, можно сказать, были единственным источником ее огорчений, перестали возмущать ее. Она, казалось, поняла настоящее свое положение.

Акулина заметнее стала отделяться от общего круга живших с нею людей, и одна из самых главных забот ее состояла уже в том, чтоб безукоризненным, точным исполнением работы и обязанностей отклонять от себя всякого рода отношения, которые могли бы возникнуть между ними и ею в противных обстоятельствах.

Внутреннее отчуждение, чувствуемое ею еще с детства к Домне, проявилось теперь сильнее, чем когда-нибудь: в этом, впрочем, она решительно не могла дать себе ясного отчета. Замечательны также были старания Акулины скрывать от окружавших впечатле-

ния, производимые на нее их насмешками и оскорблениями. Когда уже чересчур переполнялось сердце горем, она старалась всегда почти скрыться из вида; затискается куда-нибудь подальше, в амбар или самую скрытную клеть, и там уже дает полную волю слезам своим. И в эти-то горькие минуты стала представляться Акулине с некоторых пор возможность иной, лучшей жизни; перед нею являлся с раздирающею сердце ясностью родной кров, родная семья и посреди всего этого мать, добрая мать, которую невыразимо сильно любила она... Грустны, грустны казались ей тогда сиротство и одиночество!

Мало-помалу бедная девка решительно перестала принимать нравственно участие во всем том, что делалось вокруг нее; происходило ли то на скотном дворе, в селе или соседстве — ей было все равно.

*Господин что плотник — что захочет,  
то и вырубит.*

*Русская простонародная пословица*

Прошло три года. В жизни деревенской, как известно, переворотов немного: все та же изба, то же поле из двух, много-много из трех нив; те же вечно неизменные заботы и суеты. На скотном дворе точно так же не могло произойти никаких особенных перемен. Дни и месяцы протянулись обычным своим порядком, не принося ни радостей, ни горя, за исключением разве редких, незначительных потасовок, которыми награждал Карп того или другого, когда находила на него дурь рвать лишнюю косушку с сватом или кумом. Акулина просиживала подле хозяина за станком с пряжею и мотками, а бабы по-прежнему не переставали дивиться ее грусти и неотвязчивому раздумью. Конечно, этим только и ограничивалось их участие; каждая готова была раздобаривать вдоволь, между тем как ни одна не подошла бы к сиротке, не сказала

бы ей: что с тобою? О чем кручинишься? О чем тоскуешь?.. Впрочем, такое равнодушие относится собственно к работницам, лицам совершенно сторонним; что ж касается Домны — она, неведомо почему, с некоторых пор стала принимать необыкновенное участие в судьбе своей питомицы. Она непрерывно повторяла соседкам, что Акульку пора бы и замуж, хоть бы в другое какое село отдать, что ли; что Акулька уже давно на возрасте, давно в поре и только сохнет, как порошок.

Несмотря, однако, на всю справедливость подобных замечаний, свахи и не думали заглядывать на скотный двор, и если та или другая кумушка, исправлявшая на деревне такую должность, завертывала в избу скотницы, то это случалось не иначе как в качестве простой гостьи или соседки. Никому на ум не приходила сиротка-невеста: ее как будто не было, как будто вовсе не существовала она на свете.

И протекла бы молодость Акулины, протекла бы до конца печальная жизнь ее так же тихо, без тревожений и переворотов, если б в селе Кузьминском не случилось одного обсто-

ательства, разом изменившего всю судьбу ее.

Приехал барин.

Барин этот, отлучавшийся летом из Петербурга не иначе как куда-нибудь на воды, за границу, конечно, и на этот раз предпочел бы чужие края скучной своей деревне, если бы управляющий, собравшись наконец с духом, не решился доложить ему о плохом состоянии финансов и вообще о постепенном уменьшении доходов с имений. Известие это, как следует, привело барина в глубокое огорчение.

Все обрушилось на управляющего. Считая доклады его чистою ложью, подозревая его в плутнях и мошенничестве (так водится обыкновенно в подобных случаях), решился он сам объездить многочисленные свои поместья, чтоб убедиться лично в их расстройстве.

Ему уже, правда, давно приходила мысль заглянуть туда хоть раз, посмотреть, все ли шло там должным порядком, да как-то все не удавалось: то, как назло, одолеют ревматизмы, и надо было покориться воле врача, предписавшего непременною поездку в Баден или Карлсбад, а оттуда в Париж, где, по словам

врача, только и можно было ожидать окончательного выздоровления; то опять являлись какие-нибудь домашние обстоятельства: жена родила, или общество, в котором барин был одним из любезнейших членов, переселялось почти на все лето в Петергоф или на Каменный остров, на дачи; или же просто не случалось вдруг, ни с того ни с сего, денег у нашего барина. С кем не бывает подобных грехов в настоящее время?

Твердо решившись на этот раз пожертвовать двумя-тремя месяцами весны и лета, барин поспешил сообщить свой план молодой супруге. Та, несмотря на трогательные филантропические цели, под предлогом которых супруг старался расположить ее к скучной поездке, хотя несравненно более симпатизировала даче на Каменном острове, однако после многих толков и нежных убеждений кончила тем, что согласилась на предложение.

Так как поездка эта все же некоторым образом была вынужденною со стороны супругов, то положено было вознаграждать себя по крайней мере всем, что только могла доставить приятного сельская жизнь. На этом ос-



новании избрали они для своего местопребывания село Кузьминское, как самое богатое, привольное, живописное и притом заключающее в себе довольно комфортабельный господский дом.

Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъяснимое наслаждение говорить о просвещенных, образованных и принадлежащих к высшему классу людях; хотя он вполне убежден, что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавок еще глупыми мужиками и бабами, однако ж он перейдет скорее к последним, как лицам, составляющим — увы — главный предмет его повествования.

Он, к глубочайшему своему прискорбию, не имеет здесь достаточно времени и места, чтоб войти в подробности касательно приезда помещика, первых его действий и распоряжений; ни слова не скажет о домашнем его быте, а прямо перескочит на то место, где помещик выступает уже как действующее лицо рассказа.

Прошли целых два длинных-длинных месяца. Барин и барыня давно соскучились и ду-

мали только, как бы поскорее вырваться из Кузьминского и уехать в Петербург.

Полные таких мыслей, сидели они однажды утром на балконе перед палисадником. День был прекрасный; легкий ветерок колыхал полосатую маркизу[4] балкона и навевал прохладу; палисадник, облитый горячими лучами полуденного солнца, блистал всею своею красою.

Но помещик, которому пригляделись даже берега Рейна, Тироль и Италия, не обращал решительно никакого внимания на все это. Он машинально глядел на скучную, сухую местность, расстилавшуюся за садом.

— Посмотри, — сказал он, наконец, жене, указывая пальцем на пыльную дорогу, — как ошибаемся мы, думая, что уж русский простолюдин непременно должен быть дюжий и здоровый: взгляни хоть вон на эту девку... вон, вон, что идет по дороге с коромыслом, еле-еле в ней душонка держится... какая худая и желтая!

— Знаешь ли, Jean[5], несмотря на то, она довольно интересна.

— Да, пожалуй, если хочешь... Но воля

твоя... elle al'air bien bête'...[6] Постой, я подзову ее сюда...

— Ну, вот еще; бог с ней!

— Ничего; я ужасно люблю говорить с ними; ты не поверишь, та bonne[7], как люди эти бывают иногда забавны! Эй, девка! Девка! — закричал барин. — Подойди сюда!

Девка до того была занята своими ведрами, что не только не слышала голоса барина, но, казалось, даже совсем позабыла, что шла мимо господского дома.

— Эй, девка! Девка! — продолжал кричать помещик.

Она подняла голову.

Первое движение ее ясно обнаруживало намерение бросить тут же, на месте, ведра и коромысло и пуститься в бегство; но, рассудив, вероятно, что уже было поздно, ибо всего оставалось несколько шагов до балкона, где сидели господа, она поспешила отвесить низкий-пренизкий поклон.

— Подойди сюда, милая, не бойся.

Девушка подошла с видимым страхом и смущением.

— Ты чья? — спросил барин.

— Домнина... — едва внятно прошептала она.

— Кто такая Домна?

— Скотница.

— Что же, она тебе мать, что ли?

— Нет.

— А мать где?

— Померла.

— Ну, а отец-то жив?

— Помер.

— Ты, значит, круглая сирота?

— Да...

— Не бойся, — продолжал барин, — ну, чего же ты испугалась? А сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Как тебя звать?

— Акулиной.

— Ну что же, Акулина, тебе, чай, замуж пора? Небось замуж-то хочется? А?

Акулина стояла как вкопанная и только переминала красными руками своими пестрядинную свою юбку.

— Ну, отвечай же, когда спрашивают тебя господа... Чего боишься? Говори: замуж хочешь?

Акулина не прерывала молчания.

— Je vous avais bien dit, qu'elle? était stupide [8], - произнес барин, обращаясь к жене.

— Mais aussi vous lui faites des questions... Cette pauvre fille! [9] — отвечала супруга.

— Ну, ступай, — сказал он, слегка улыбнувшись, — ступай, Акулина, бог с тобою... Знаешь ли, ma bonne amie [10], - продолжал он, когда сиротка скрылась из вида, — сделаем доброе дело: пристроим бедную эту девку к месту, выдадим ее замуж...

— Ах! И в самом деле! Мне давно хочется посмотреть на деревенскую свадьбу; говорят, обряд этот у них чрезвычайно оригинален...

— О, удивительно! Я непременно доставлю тебе это удовольствие и завтра же прикажу старосте навести справки...

Но на другой день, как назло, приехало к ним несколько соседей, и барин, вместо того чтоб приказать старосте навести справки о деревенских женихах, отправил его в город для закупки разных съестных припасов, провизии и шампанского.

Несколько дней прошло в пирах и охоте. Соседи наконец разъехались.

В скором времени сам владелец села Кузьминского стал готовиться в дорогу. За всеми этими хлопотами он, конечно, не мог не забыть сиротки и, без сомнения, вернулся бы в Петербург, не вспомнив даже о намерении пристроить бедную сиротку, если б один совершенно неожиданный случай не навел его опять на прежнюю мысль. Доложили, что мужички пришли и просят позволения лично поговорить с его милостью. Барин отправился в прихожую, где крестьяне в молчании ожидали его появления.

Старый кузнец Силантий, его жена, брат и старший сын, парень превзродный, рыжий, как кумач, полинявший на солнце, вооруженные, как водится, яйцами, медом, караваем и петухом, повалились на пол, едва завидели господина.

— Встаньте, встаньте! — проговорил с достоинством помещик. — Вы знаете, я этого не люблю... встаньте, говорят вам...

Семейство кузнеца медленно и как бы нехотя приподнялось с пола.

Одна жена Силантия противилась исполнить приказание и с заметным упрямством

продолжала валяться по земле, так что барин вынужден был на нее наконец вскрикнуть.

— Что вам надо? — спросил помещик.

— Вот, батюшка, — начал Силантий, — не побрезгай, отец ты наш... Вы, вы отцы наши, мы ваши дети, прими хлеб-соль.

— Какие вы глупые, право; сколько раз говорено было не носить ко мне ничего!.. Ну, куда мне все это?

— Уж так водится у нас, батюшка Иван Гаврилыч, не обидь нас, кормилец...

— Ну, ну... отдайте людям.

Вручив принесенное близ стоявшим лакеям, старый кузнец снова повалился наземь и, как бы почувствовав себя теперь облегченным от огромной тяжести, сказал гораздо развязнее и бойчее прежнего:

— К твоей милости пришли, Иван Гаврилыч.

— Что такое?

— Заставь, батюшка, за себя вечно богу молить...

— Ну, ну, ну...

— Да вот, отец ты наш... парню-то моему не то двадцатый годок пошел, не то более, так

пришли просить твоей милости, не пожалуешь ли ему невесты?..

— Пускай, братец, парень твой выберет себе какую ему угодно невесту... из любка любую выбирает; я не прочь, отнюдь не прочь.

— Дело-то, батюшка Иван Гаврилыч, такое приспело, что вот что хошь делай: нет на деревне у нас ни одной девки, да и полно, и не знать, куда это подевались они... мы на тебя и надеялись, отец наш... Заставь вечно бога молить...

— Откуда же мне взять невесту, братец, когда сам ты говоришь, что их нет у нас?

— Дело знамое; оно, вестимо, так, батюшка... Да мы чаяли, буде твоей милости заугодно буде... вот в соседнем-то селе — Посыпкино... так ему кличка, — вот есть девка, добрая, куда какая... Летось еще, батюшка Иван Гаврилыч, смотрели мы ее и сваху засылали, да отец с матерью дорого больно просят... а девка знатная, спорая... Вот, батюшка, мы на ту пору и понадеялись на тебя, чаяли, буде господь бог даст, пожалуешь ты к нам, да не будет ли твоей милости... не заплатишь ли выводного за девку... а уж он, Иван Гаврилыч,



куда парень гораздый, на всяко дело такой, что и!.. Батюшка! Сделай божеску милость, не откажи нам...

— Пстой, пстой! — прервал барин. — Как же, братец, говоришь ты: нет у нас невест... пстой... да я знаю одну... Эй! Кликнуть старосту.

Староста, стоявший в это время за дверью и, по обыкновению своему или, лучше сказать, по обыкновению всех старост, не пропустивший ни единого слова из того, что говорилось между мужиками и барином, не замедлил явиться в переднюю.

— Что, Демьян, есть у нас в Кузьминском невеста?

— Есть, батюшка Иван Гаврилыч.

— Где?.. В какой семье?

— Вот, сударь, примерно хошь на скотном дворе у скотницы есть работница...

— Ах, да, да! Я и забыл... как бишь ее зовут-то?

— Акулиною, сударь...

— Да, Акулина, Акулина...

Кузнец и жена его заметно смутились; барин продолжал:

— Так что же ты врешь, Силантий, а? Что ж ты приходишь меня беспокоить по пустякам!

— Помилуй, отец ты наш! — сказал Силантий; голос его дрожал и понизился целою октавою, не то что вначале, где он думал, что барин-де не смекает ничего в крестьянском деле и что, следовательно, легко будет обмишурить, надуть такого барина. — Помилуй, — продолжал он, — не обижай ты нас, кормилец. Вы... вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч; какая же то невеста?

— Что ж?

— Сирота, батюшка, бездомная, и девка-то совсем хвора... Опречь того, батюшка, позволь слово молвить, больно ломлива, куды ломлива! Умаешься с нею... Ни на какую работу не годна... рубахи состебать не сможет... А я-то стар стал, да и старуха моя тож... перестарились, батюшка... Вестимо, мы твои, Иван Гаврилыч, из воли твоей выступить не можем, а просим только твоей милости, не прочь ты ее моему парню.

— Ах ты, старый дуралей! — сказал барин,

сердито топнув ногою. — Если уж сирота, так, по-твоему, ей и в девках оставаться, а для олуха твоего сына искать невест у соседей... Что ты мне белендрясы-то пришел плесть?.. А?.. Староста! Девка эта дурного поведения, что ли?

— Кажись, ничего не слышать про нее на деревне... девка хорошая.

Нет сомнения, что староста жил не в ладу с кузнецом Силантием.

— Так что ж ты? А?..

— Не гневись...

— Молчать!.. Слушай, Силантий! Сейчас же, сию ж минуту сватай Акулину за твоего сына... слышишь ли?..

— Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч...

— Отправляйся же на скотный двор... Смотри, брат... да чтоб свадьбу сыграть у меня в нынешнее же воскресенье... Вот еще вздор выдумал, если сирота, так и пренебрегать ею... а?..

Старуха Силантия не выдержала. С плачем и воплем бросилась она обнимать ноги своего господина.

— Батюшка! — вопила баба. — Отец ты

наш! Не губи парня-то... Девка совсем негодная, кормилец; на всей деревне просвету нам с нею не дадут, кажинный чураться нас станет; чем погрешили мы перед тобою, касатик ты наш?.. Весь свет осуду на нас положит за такую ахаверницу...

— Что ты врешь, глупая баба? Встань, встань, говорят тебе... Пошла вон... А ты, Силантий, понял мой приказ? Ну, чтоб все было исполнено, да живо, слышишь ли?

— Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч, — отвечал кузнец, кланяясь в пояс.

— Ну, ступай же! — продолжал барин. — Ах, да! Я и забыл... Силантий!..

Кузнец вернулся в переднюю.

— Тебе говорил Петр Иванов осмотреть коляску? Там, кажется, шина лопнула.

— Сказывал, Иван Гаврилыч.

— Ну так распорядись же как можно лучше; я еду во вторник на будущей неделе... ступай!..

Когда дверь передней затворилась за кузнецом, Иван Гаврилович отправился во внутренние покои. Проходя мимо большой залы, выходящей боковым фасом на улицу, он по-

дошел к окну. Ему пришла вдруг совершенно бессознательно мысль взглянуть на мину, которую сделает Силантий, получив от него такое неожиданное приказание касательно свадьбы сына.

Иван Гаврилович, к крайнему своему удивлению, заметил, что все члены семейства кузнеца шли, понуря голову и являя во всех своих движениях признаки величайшего неудовольствия.

— Что ты здесь делаешь, Jean? Что тебя так занимает? — сказала барыня, подкравшись к нему на цыпочках и повиснув совершенно неожиданно на шею своему мужу.

Иван Гаврилович молча указал ей на удалявшихся мужиков, покачал сначала головою и пожал плечами...

# VI

*Что без ветра, что без вихоря  
Вороточки отворилися.  
Как въезжал на широкий двор  
Свет Григорий, господин,  
Свет Силантич, сударь.  
Увидела Акулина-душа,  
Закричала громким голосом:  
«Сберегите вы, матушки, меня!  
Вот идет погубитель мой!..»  
Русская песня*

**Б**ыстро летит время! Не успели мужички се-  
бла Кузьминского и двух раз сходить на бар-  
щину после описанной нами сцены, как  
глядь — уж и воскресенье наступило. В этот  
день, как вообще во все праздничные дни, де-  
ревня заметно оживлялась.

Только что раздались первые удары благо-  
веста, во всех концах улицы загремели ще-  
колды, заскрипели ворота и прикалитки, и  
жители забегали, засуетились.

Кто выходит из дома и, крестясь, остано-  
вился посреди улицы, на лужайке, против ба-  
дьи, с намерением выждать жену или свата;

кто прямо шел к околице. Из окон беспрестанно зачали высовываться головы. «Эй! Тетка Феклуха! погоди маненько! Поидем вместе: дай управиться — куда те несет!..» или: «Кума, а кума! Авдотья, а Авдотья! Выжди у коноплей... ишь, только заблаговестили...» Бабы, которые позажиточнее, в высоких «кичках», обшитых блестками и позументом, с низаными подзатыльниками, в пестрых котках и ярких полосатых исподницах или, кто победнее, попросту повязав голову писаным алым платком, врозь концы, да натянув на плечи мужнин серый жупан, потянулись вдоль усадьбы, блистая на солнце, как раззолоченные пряники и коврижки. Мерно и плавно выступали за ними мужья и парни. Толпы девчонок и мальчишек неслись, как стаи воробьев, то сбиваясь в кучку, то снова разбиваясь в рассыпную, оглушая всю улицу своим визгом и криком. Пестрая ватага из женщин, мужиков и ребят тянулась за околицу движущуюся узорчатою каймою, огибала бесконечное поле ржи, исчезала потом за косягом, пропадала вовсе и уже спустя немалое время появлялась, как сверкающее пятно,

на белевшей вдалеке церковной паперти.

Дорога к церкви мало-помалу пустела; кое-где разве проезжала телега, наполненная приходскими мужиками, или ковыляла, подпираясь клюкою, дряхлая старушонка, с трудом поспевавшая за резвою внучкою, которой страх хотелось послушать вблизи звонкий благовест.

В селе уже давно водворился покой. Воз заезжего купца-торгаша с красным товаром, запонками, наместьями, варезками, стеклярусом, тавлинками[11] со слюдою, свертками кумача, остановившийся у высокого колодца, оживлял один опустевшую улицу.

Посреди движения, произведенного в Кузьминском благовестом, оставались две только избы, которых обыватели, казалось, не хотели принимать участия в общей суматохе. Одна из таких изб принадлежала кузнецу Силантию, другая скотнице Домне. Судя по некоторым наружным признакам, как в той, так и в другой должно было происходить что-нибудь да особенное.

Невзирая на пору и время, труба в избе Силантия дымилась сильно, и в поднятых окнах



блистала широким пламенем жарко топившаяся печь. Кроме того, на подоконниках появлялись беспрестанно доски, униженные ватрушками, гибанцами[12], пирогами, или выставлялись горшки и золоченые липовые чашки с киселем, саламатою[13], холодничком и кашею.

Вторая изба хотя не представляла ничего подобного, однако тишина (как известно, весьма не свойственная мирному этому крову) могла служить ясным доказательством, что и у Домны дело также шло не обычным порядком.

И действительно, то, что происходило в избе скотницы, отнюдь не принадлежало к числу сцен обыденных.

Толпа баб, разных кумушек, теток, золовок и своячениц, окружала Акулину. Сиротка сидела на лавочке посередь избы, с повязкою на голове, в новой белой рубашке, в новых кофтах, и разливалась-плакала. Собравшиеся вокруг бабы, казалось, истощили все свое красноречие, чтоб утешить ее.

— Не плачь, — говорила какая-то краснощекая старуха, — ну, о чем плакать-то? Слеза-

ми не поможешь... знать, уж господу богу так угодно... Да и то грех сказать: Григорий парень ловкий, о чем кручинишься? Девка ты добрая, обижать тебя ему незачем, а коли по случай горе прикатит, коли жустрить начнет... так и тут что?.. Бог видит, кто кого обидит...

— Вестимо, бог до греха не допустит, — перебила Домна. — Полно тебе, Акулька, рюмить-то; приставь голову к плечам. И вправду Савельевна слово молвила, за что, за какую надобу мужу есть тебя, коли ты по добру с ним жить станешь?.. Не люб он тебе? Не по сердцу пришелся небось?.. Да ведь, глупая, неразумная девка! Вспомни-ка, ведь ни отца, ни матери-то нет у тебя, ведь сирота ты бездомная, и добро еще барин вступился за тебя, а то бы весь век свой в девках промаячилась. Полно... полно же тебе...

— Эх, бабы, бабы! — подхватила третья, не прерывавшая еще ни разу молчания. — Ну, что вы ее словами-то закидываете?.. Нешто она разве не знала замужнего житья? Хоть на тебя небось, Домна, было ей время наглядеться, а ты же еще и уговариваешь ее... Эх! Зна-

мая песня: чужую беду руками разведу, а к своей так ума не приложу... век с мужем-то изжить не поле перейти... она, чай, сама это ведает...

— А разве всем быть таким, как твой Борис? Небось не за доброго человека она идет, что ли?.. Григорий забубенный разве какой парень?.. Полно же, Акулька! В семью идешь ты богатую... У Силантия-то в доме всякого жита по лопате... чего рюмишься?.. Коли уж быть тебе за Григорьем, так ступай; что вой, что не вой — все одно.

— И то правда, — подхватила какая-то близ стоявшая кума, — вестимо, полно грустить... Не надсаживай, Акулина, своего здоровьяца некрепкого по-пустому... брось кручину; авось бог милостив...

Но все эти увещания, в сущности способные убедить каждого здравомыслящего человека, что-то плохо действовали на Акулину.

Она была безутешна.

«Эка, право, девка-то чудная какая! — думали бабы. — Как узнала ономясь, что велено замуж идти, так ничего, слезинки не выронила, словно еще обрадовалась; да и все-то

остальные дни, бог ее ведает, нимало не кручинилась. Уж на что Домна, кажись, не больно ее жалует, а третя дня, как запели девки песни да зачали расплетать ей косу, так и та благим матом завыла, да и всех-то нас нешто слеза прошибла, а ей одной нипочем — словно, право, каменное сердце у человека тогда было. Ну, думали, обрадовалась больно, сердечная, ан не тут-то было: вот теперь, в самый-то день свадьбы, отколь и горе привалило... ревет, и не уймешь еще... что бы за притча, примерно, такая?..»

Бабы решительно становились в тупик: им невдомек было поведение Акулины. Недоумение кумушек возрастало, главное, оттого, что горе невесты последовало внезапно после нескольких дней, проведенных ею с самым невозмутимым равнодушием. Дело в том, что ни одна из них не замечала — конечно, и не могла заметить — тех тонких признаков душевной скорби, того немого отчаяния (единственных выражений истинного горя), которые, между прочим, сильно обозначались во все то время в каждой черте лица, в каждом движении сиротки.

Известие о разговоре барина с мужиками повергло ее в такое отчаяние, что, если б не надежда переменить дело, не выходить замуж, она кончила бы, без сомнения, чем-нибудь трагическим.

Надежда, вкравшись раз в душу Акулины, укрепила ее. Она ждала только удобного случая, чтоб броситься к ногам барина. Полная уверенности в том, что он не откажет ей своею милостью, она принялась караулить Ивана Гавриловича.

Но странно, необъяснимо странно было, что каждый раз, как показывался барин, ее охватывала такая робость, такой страх овладевал всем существом ее, что она не смела даже шевельнуться, боясь обратить на себя его внимание.

Необходимо здесь заметить, что чувство это было в ней совершенно бессознательно, ибо Иван Гаврилович был, как уже известно, человек добрый, благонамеренный и отнюдь не давал своим подчиненным повода трепетать в его присутствии. Приписать опять чувство это врожденной робости Акулины, тому, что она была загнана, забита и запугана, или

«идее», которую составляют себе о власти вообще все люди, редко находящиеся с нею в соприкосновении и по тому самому присваивающие ей какое-то чересчур страшное значение, — было бы здесь неуместно, ибо отчаяние бедной девки могло не только победить в ней пустые эти страхи, но легко даже могло вызвать ее на дело несравненно более смелое и отважное. А между тем, где бы ни встрети-лась Акулина с барином, решимость в ту ж минуту ее покидала; затаив дыхание, дрожа как осиновый лист, пропускала она его мимо, дав себе слово в следующий же раз без обиняков броситься в ноги к нему и прямо рассказать, в чем дело. Но много раз на день являлись такие случаи, и тысячу раз результат выходил один и тот же; мало того, в решительную минуту Акулина мирилась даже с горькою своею долею.

А барин тем временем шел себе спокойно, слегка покуривая сигару, беспечно поглядывая на стороны и не подозревая даже, чтоб за соседним плетнем или обвалившеюся перегородкою могло происходить что-либо подобное.

Надежда не покидала, однако, Акулину; еще накануне своей свадьбы всю ночь провела она на коленях, умоляя святых угодников защитить ее, укрепить ее духом. Но, как на беду, в воскресенье утром Иван Гаврилович ни разу не вышел из хором, и Акулина, выжидавшая его за сараем, могла только видеть, как коляска помчала его вместе с барынею по дороге в церковь.

Тут, ввиду исчезнувшей надежды, гибели неминуемой и неизбежной, почувствовала она, что не в силах бороться долее с своим горем; сердце ее перестало биться, глаза подернулись темною пеленою, и, как подрубленная молодая береза, покатила бедная на землю.

Случайно натолкнулась на нее баба; ее принесли в избу, привели в чувство и, как мы видели, немало заботились успокоить. Мало-помалу бабы начали достигать своей цели; невеста уже несколько поддавалась на их красноречивые убеждения, как вдруг крики: «Едут! Едут!», раздавшиеся со всех концов избы, снова испортили все дело.

Пока Домна (посаженая мать сиротки), соседки и кумушки суетились вокруг невесты,

ворота с надворья скрипнули, и на дворе слышался шум, говор и звук бубенчиков, свидетельствовавшие о приезде жениха.

Вскоре Пахомка (старший сын скотницы и дружка невесты) появился на пороге; за ним, крестясь и кланяясь, вошли по порядку жених, его отец, мать, дружка и родственники. Все они казались не слишком-то радостными; один дружка жениха скалил зубы, подмигивал близ стоявшим бабам да весело встряхивал курчавою своею головою.

После обычных приветствий как с той, так и с другой стороны Григория и Акулину поставили на колени на разостланный дружками на полу зипун. Домна взяла тогда образ и подошла к ним; начался обряд благословения.

Акулина как бы успокоилась, и только судорожно стиснутые губы и смертная бледность лица свидетельствовали, что не все еще стихло в груди ее; но потом, когда дружка невесты произнес: «Отцы, батюшки, мамки, мамушки и все добрые соседушки, благословите молодого нашего отрока в путь-дорогу, в чистое поле, в зеленые луга, под восточную сторону, под красное солнце, под свет-



лый месяц, под часты звезды, к божьему храму, к колокольному звону», и особенно после того, как присутствующие ответили: «Бог благословит!», все как бы разом окончательно в ней замерло и захолонуло. Она машинально, с отсутствием всякого чувства и мысли, влезла в повозку и уселась подле жениха своего.

Поезд тронулся.

Обедня только что кончилась, когда свадебные повозки остановились перед церковью. Иван Гаврилович, его супруга и еще кой-какие помещики того же прихода стояли на паперти.

Первые, как жители столицы, с заметным любопытством ожидали начала брачной церемонии добрых мужичков.

Так как невеста была круглая сирота, то, по принятому обыкновению в подобных случаях, ей следовало еще отправиться до венца на кладбище, чтобы помолиться над могилою родителей, или, как выражаются в простонародье, «поплакать голосом».

Едва начался обряд венчанья, как супруга Ивана Гавриловича почувствовала уже тоску и сильный позыв к зевоте; крестьянская сва-

дба, заинтересовавшая ее дня три тому назад, казалась ей весьма скучным удовольствием; невеста была глупа и выглядывала настоящим уродом, жених и того хуже — словом, она изъявила желание как можно скорее ехать домой. Иван Гаврилович, разделявший с женою одни и те же мысли, не замедлил сесть в коляску, пригласив наперед к себе некоторых из соседей.

Вскоре все обыватели Кузьминского вернулись домой, и улица села снова загремела и оживилась.

Мужики Ивана Гавриловича были народ исправный, молодцы в работе и не ленивцы; но греха таить нечего, любили попить в денечек господень. Приволье было на то большое: в пяти верстах находился уездный город \*\*... да что в пяти! В двух всего дядя Кирилла такой держал кабак, что не нужно даже было и уездного города для их благополучия. Уж зато как настанет праздник, так просто любо смотреть: крик, потасовки, пляс, песни, ну, словом, такая гульня пойдет по всей улице, что без малого верст на десять слышно.

Но на этот раз, — конечно, говоря относи-

тельно, — во всей деревне не было такого раздолья, как в одной избе кузнеца Силантия; немудрено: сыновей женить ведь не бог знает сколько раз в жизни прилучится, а у Силантия, как ведомо, всего-то был один. Несмотря на то что старику больно не по нраву приходилась невеста, однако он, по-видимому, не хотел из-за нее ударить лицом в грязь и свадьбу решился сыграть на славу.

И то сказать, угощенье затеялось лихое! Что душе угодно, всего было вдоволь. Василиса и Дарья — сестры кузнеца, старые девки, и старуха его только и делали, что таскали из печи на стол разные яства: мисы щей, киселя горохового, киселя овсяного, холодничка и каши, большущие чашки, наполненные доверху пирогами с морковью, пирогами с кашею, ватрушками пресными и сдобными и всякими другими, поочередно появлялись перед многочисленными гостями. О напитках и говорить нечего: штофики с сивухою, настойками, более или менее подслащенными медом, погуливали из рук в руки без устали; что же касается до сусла и браги, они просто стояли в больших ведрах близ каждого стола, гостю

стоило только нагнуться, чтоб черпать. Силантий, казалось, совсем распоясался и чувствовал гостей своих не на шутку. Много оставались довольны и гости; отовсюду неслись крики и приветствия радушному хозяину. Мало-помалу и сам он расходился.

Он сидел, обнявшись с кумом Иваном и сватом Гаврилою, и беспрестанно подносил им то из одного штоффика, то из другого.

— Сват Гаврило! Еще стаканчик, ну, чего отнекиваешься?.. Пей!

— Так и быть, — отвечал сват Гаврило, глаза которого уже казались плавающими в масле, — так и быть, обижу свою душу, согрешу, выпью...

— Кум, а кум! Без опаски пей, чего боишься?..

— Спасибо те на ласковом слове, Силантий Васильевич, много довольны без того... много благодарствуем...

— Молодая!.. Что же ты!.. — кричал Силантий, обращаясь к Акулине, которая молча и неподвижно сидела на месте и, несмотря на увещания соседок, не выпивала своего стакана. — Эй! Гришка! Что ж! Оба словно пни си-

дите... Сноха! Что не пьешь?.. Аль оглохла?.. Экие дурни!.. Да поцелуйтесь же... небось при людях-то не любо... Тетка Арина, еще винца... милости просим, не побрезгай... Дядя Пахом! Во здравие молодым!.. Кум Иван... ты... ты... ведь брат мне родной... ну, и пей!.. Левон Трифоныч! А ты что прикорнул? Небось, неси в ворота, где ус да борода!.. Кума! Домна Карповна, дай тебе господь бог много лет здравствовать и деткам твоим всяческа благополучия от царя небесного... Да... Эй! Во саду ли в огороде... эй, братцы!.. Ну!..

Гам, чавканье, стук ложек, неистовые крики подымались все сильнее да сильнее; вскоре слышались они не только в сенях, но даже на дворе, под корытами и колодами, куда успели забраться, неизвестно каким образом, некоторые из гостей Силантия.

Как ни весело было, однако пирушке должен же быть конец. Уж вечерело, когда стали расходиться. Кто, придерживаясь к плетню, побрел к себе домой; кто помощью рук и ног соседей и своих собственных карабкался вон, сам не зная куда; кто присоединился к общей массе народа, толкавшейся с песнями перед

барскими хоронами.

Силантий, молодые и домашние его последовали примеру последних. Тут веселье было уже совсем другого рода.

У самого палисадника вертелись хороводы, словно немазанные колеса какие, с их несвязною и нескончаемою песнью; в другом месте толпа окружала молодого парня, который, по желанию Ивана Гавриловича, выплясывал с бабой трепака. Заломив высокую свою шапку в три деньги, запрокинув голову, выделявал он с самою серьезною миною свои па, между тем как господские люди разносили обступившим его подносы с штофами пенника[14] и ломтиками хлеба; ребятишки и девчонки бегали кругом балкона и с визгом кидались наземь каждый раз, как барин или барыня бросали в них пригоршню жемков[15] и орехов. Старики и старухи также имели свою долю в общем веселье: они стояли у решетки и тешились, глядя на забаву.

Разгулявшиеся гости Силантия еще более оживили толпу; окружили молодых, втискали их силою в хоровод — и пошла потеха еще лучше прежней. Иван Гаврилович и супруга

его казались на этот раз очень довольными; они спустились с балкона и подошли к хоро-воду.

— Что же она у тебя невесела, Силантий?.. — сказал Иван Гаврилович, указывая ему на Акулину.

— А вот, вишь ты, отец наш... она... молодая... а вот парень-то мой... Вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч... много благодарны... Вот те, ей-ей, много благодарны... не погневись ты на нас, мы ведь слуги твои...

— Ну, хорошо, хорошо, — прибавил барин, видя, что Силантий едва держится на ногах, — хорошо, ступай...

Долго продолжалось в этот день веселье в селе Кузьминском. Уж давно село солнце, уже давно полночь наступила, на небе одни лишь звездочки меж собою переглядывались да месяц, словно красная девка, смотрел во все глаза, — а все еще не умолкали песни и треньканье балалайки, и долго-долго потом, после того как все уж стихло и смолкло, не переставали еще кое-где мелькать в окнах огоньки, свидетельствовавшие, что хозяикам немало

стоило труда уложить мужей, вернувшихся со свадебной пирушки кузнеца Силантия.



## VII

*Ах, раскройся, мать сыра земля,  
Поглоти меня, несчастную!!  
Русская песня*

Еще солнышко вихра не думало выставлять, как уже Григорий, муж Акулины, выбрался из каморы, куда накануне положили его с женою, и ушел в поле. Само собою разумеется, что такое усердие не могло проявиться в нем без особенной причины; он наверняка об эту пору думал поймать соседей, взявших с некоторого времени повадку пускать лошадей своих на его гречиху и овес. «Добро, — молвил он, украдкою приближаясь к своим нивам, — добро! Вы, чай, мыслите: бабится Григорий с женою да лыка не вяжет со вчерашнего похмелья? Погодите-тка, дружки! Я вам покажу свата Кузьму... Недаром с весны скалю зубы-то... постой...» Но Григорий, должно быть, нес чистую напраслину на соседей своих, ибо сколько ни обходил поля, сколько ни высматривал его, нигде не было заметно ни истоптанного места, ни даже следа конского или

человечьего: овес и гречиха были невредимы. Бодро, словно ратники в строю, торчали мощные их стебли; один только ветер, потянувший к рассвету, бугрил и колыхал злачные их верхушки. «Ишь, лешие! — сказал он, оглянув еще раз поле. — Как барин-то здесь, так небось и дорогу узнали... по чужому, знать, не шляндаете... не то что прежде... Ах, кабы попался кто из вас, мошенников... во, как бы оттастал!.. Да еще и к барину бы свел...» Ободрив себя такими мыслями, Григорий повернулся спиною к полю и отправился по меже к проселку. Ступив на проселок, он остановился, поглазел направо и налево, почесал затылок, потом оба бока и спину. «А что? — подумал он. — Ведь вот коли все прямо по дороге идти, так, вестимо, оно будет дальше... в полях-то, чай, еще никого нет!.. Э!..»

Григорий махнул рукой и без дальних рассуждений пошел отхватывать по соседней ржи. Уж начали было мелькать перед ним верхушки ветл, ограждавших барский сад, мелькнула вдалеке и колокольня, как вдруг рожь в стороне заколыхалась, и, отколе ни возьмись, глянула сначала одна шапка, по-

том другая и третья; не успел Григорий присесть наземь, как уже увидел себя окруженно-го тремя мужиками.

— Э-ге-ге!.. Так это, брат, ты? — вскричал самый дюжий из них, в котором Григорий узнал дядю Сыся. — Так вот оно как! Нет, знай, не отбояришься... не пущайте его, ребята...

Петруха Бездомный и Федос Простоволо-тый подошли.

— Что, словно черти, обступили?.. Что на-до?..

— Небось чужое-то не свое — не жаль...

— Да ты чего лезешь?.. Нешто твое?

— А то чье же?..

— Ну, твое так твое... и черт с тобою!..

— Вот мы те покажем черта...

— А что ты мне покажешь?..

— Да... а помнишь, как летось батяка твой поймал на своих горохах мою кобылу да слу-пил целковый-рубль?.. Этого ты не помнишь?

— А что мне помнить?..

— То-то, воронье пугало! Теперь и тебе не уйти...

— Да чего те надо? Леший!

— Э, брат! Ты еще куражишься... Хватай его, ребята!..

Мужики бросились на Григорья; тот, парень азартный, изворотливый, видя, что дело дошло до кулаков, мигом вывернулся, засучил рукав, и дядя Сысой не успел отскочить, как уже получил затрецину и облился кровью.

— А! Так вяжи ж его, ребята! Вяжи его, разбойника! — закричали что было мочи мужики, уж не на шутку принимаясь комкать Григорья. Тут сила перемогла его: дядя Сысой, Федос и Петруха связали его кушаками, не потерпя даже на этот раз малейшего ущерба, разве только что гречиха первого была решительно вся вымята во время возни, — а она ведь все же чего-нибудь да стоила, ибо у Сысои, его жены и детей всего-то было засеяно ею полнивы.

— Тащи его, братцы, прямо к барину, тащи!.. — кричал дядя Сысой, размазывая себе, как бы невзначай, скулы кровью и, вероятно, желая тем произвести больший эффект перед барином. — Там те покажут, собаке, как драться... тащи... тащи!..

— Что, взял? — говорил Петруха Бездомный. — Не хотел по добру ладить... вот те бока-то вылуцат... погоди.

— А! Мошенник! — продолжал дядя Сысой, не забывая мазнуть себя по носу. — Я ж покажу!.. Разбойник! Тащи... тащи, ребята... тащи его!..

— Что, брат Гришка, — подхватывал Петруха, — якшаться с нами небось не хотел: и такие, мол, и сякие, и на свадьбу не звал... гнушаться, знать, только твое дело; а вот ведь прикрутили же мы тебя... Погоди-тка! Барин за это небось спасибо не скажет: там, брат, как раз угостят из двух поленцев яичницей... спину-то растрафаретят...

— А что, дядя Сысой, — молвил Федос, — известно, чай, жутко ему будет?.. Так выпарят... и!.. и!.. и!.. Господи упаси!..

Рассуждая таким образом, мужики заметно придвинулись к околице; тут Григорий, не показавший во все время смущения или робости, стал вдруг крепиться и упираться ногами. Дядя Сысой, заметив это, перемигнулся с Петрухой и, как бы почувствовав прилив вдохновения, произнес:

— Стой, ребята! Стой!.. Гришка! Вот те Христос, отдерут, не на живот, а на смерть отдерут... Слушай! Ну... хошь аль не хошь?

— Ну что?.. Ну, хочу...

— Братцы! Уговор лучше денег, — продолжал тем же восторженным тоном дядя Сысой, — бог с ним... обидел он меня... уж вот как обидел... ну да плевать... выпустим его...

— Выпустите, братцы! Ну, за что вы меня тащите? Выпустите! Ей-богу, скажу спасибо...

— Э-ге!.. Даром кафтан-то у те сер, а ум-то, верно, не лукавый съел... ишь чего! А ты думаешь, спасибо, да и отбоярился?

— Чего ж вам еще?..

— Что больно дешево?.. Нет... ты, брат, вот что... Ну, да что с тобою толковать! Давай целковый!

— А отколе возьму его?..

— Не хошь?.. Тащи его, ребята, тащи!..

— Гришка, полно тебе артачиться! — сказал Петруха. — Хуже будет, шкурою ведь заплатишь... вот те Христос, такого срама нахлебаешься, что и!..

— Толком говорят тебе, откуда мне взять его?.. Ну...

— Врешь, чертов сын! У вас с бачкой денег много... недаром всю деревню вчерась угощали... Ну, хошь, что ли, говори?

— Ей-богу, дядя Сысой, провалиться мне сквозь землю, если есть такие деньги...

— Э! Ну, черт с тобой! Давай полтинник.

— Да нету, тебе, чай, говорят!

— Нету?.. Ну так тащи его, ребята... тащи, тащи, тащи!..

— Погодите... дядя Сысой... стойте... дайте вымолвить слово... пять алтын, по-моему, бери!

— Эк, ловок больно! Нет, этим обиды, брат, не вышибешь... Тащи его, знай, ребята, тащи...

— Ну, двугривенный... Вот как бог свят, больше нет ни полушки!..

— Ребята! — крикнул снова дядя Сысой. — Была не была! Возьмем с него двугривенный да магарычи в придачу... Идет, что ли?

— Отсохни руки и ноги, если у меня есть больше, — всего двугривенный...

— О! Еще скалдырничает... Так ты не хочешь?

— Не замай его, дядя Сысой, сам напослед-

дях спокается...

— Вестимо! — вымолвил Федос.

— Черт же бы вас подрал! — сказал Григорий. — Ну, развязывай руки-то, что ль...

— Двугривенник и магарычи — слышишь?

— Ну, слышу!

— Идет?

— Ну, идет!

— Развязывай его, ребята! Давно бы так: кобениться еще вздумал... эх, жила, жила!..

— Да куда мы пойдём-то?..

— Вестимо, куда! Река, чай, не больно далеко...

— К свату Кириле, что ли?

— А то куда же? Сегодня, кажись, еще базар...

— И то, ребята...

— Ступайте, братцы! — сказал Федос.

— А ты что?

— Я не пойду...

— Да куда те приспичило, на барщину разве гонят, черт?

— Свой пар, дядя Сысой, не пахан стоит...

— А у одного тебя не пахан он, что ли? Простоит ведро, спахаеть...



— Вестимо, простоит ведро; давно ли был дождь?..

— Полно, кум, пойдем!

— Идемте, что ли?

— Идемте...

— Погодите, куда вас несет?

— А что?

— Обогнуть, чай, надо дорогу...

— А пес велит нам идти по ней?.. — сказал дядя Сысой.

— А то как же?

— Что тут долго болтать... вот так всё прямо и пойдем... полем, как раз на реку выйдем...

— Э! Полем! А рожь, не видишь?

— Э! Рожь... Что, ребята, чего стали?

— Оно, вестимо, короче, дядя Сысой, полем-то, чай, выйдешь на забродное...

— Ну так что?

— А овсы господские...

— Овсы господские! А какой леший увидит нас? День, что ли? Ишь, только светает. И много помнем мы небось овсов-то господских... Да ну, ступайте, что ли!

— Пойдемте, братцы!

— Пойдемте!..

И все четверо свернули с дороги.

Дядя Сысой не ошибся; избранная им дорога сокращала путь по крайней мере целыми десятью минутами, что, впрочем, в ожидании магарыча не было безделицей. Вскоре путники наши миновали барский овес, расстилавшийся за ним ельник и вышли на берег.

Солнце только что показалось из-за темных гор, ограждавших противоположную сторону реки; ровная, тихая, как золотое зеркало, сверкала она в крутых берегах, покрытых еще тенью, и разве где-где мелькали по ней, словно зазубрины, рыбацьи лодки, слегка окаймленные огненными искрами восхода. Песчаный берег, по которому ступали мужички, незаметным, ровным почти склоном погружался в воду. Внизу, у самой подошвы его, возвышалась серая высокая изба, обнесенная с одной стороны плетнем, с другой сушившимся бреднем. На дощатой, заплесневевшей кровле этого здания возносился длинный шест с пучком соломы и елка, столь знакомая жителям Кузьминского и вообще всему околотку. Кругом по песку валялись без всякого

порядка обручи и торчали порожние бочки, брошенные, вероятно, хозяином для просушки.

Несмотря на раннюю пору, перед крылечком здания уже толкалось немало народа, и товарищам дяди Сыся надо было выждать, прежде нежели войти под гостеприимный кров.

Тут стояли мужики с возами, мельники из соседних деревень с мукою и рожью, высывались кое-где даже бабы; виден был и купчик с своею бородкою и коновал с своими блестящими на ременном поясе доспехах, но более всех бросался в глаза долговязый рыжий пономарь с его широкою шапкою, забрызганною восковыми крапинами, который, взгромоздившись, бог весть для чего, на высокий воз свой, выглядывал оттуда настоящею каланчою.

На пороге кабака находился сам хозяин; это был дюжий, жирный мужчина с черною, как смоль, бородою и волосами, одетый в красную рубаху с синими ластовицами и в широкие плисовые шаровары. Он непрерывно заговаривал с тем или другим, а иногда

просто, подмигнув кому-нибудь в толпе, покрикивал: «Эй, парень! А что ж хлебнуть-то? Ась?.. Э-ге-ге, брат! Да ты, как я вижу, алтынник!»

Григорий, дядя Сысой и другие вошли наконец в кабак и, не снимая шапок, как это принято в таких местах, уселись рядышком в углу на лавке. Внутренность избы не представляла ничего особенно нового и замечательного. Тот же порядок, как и во всех кабаках, усеивающих большие и малые дороги, пристани, базарные сходки и приречья обширной России. Те же закопченные сосновые бревна, та же печь исполинского размера с полатыми и выступами. В одном углу — бочка с прицепленным к краю ковшом, в другом — конторка, устроенная из досок, положенных на козла; на ней штофы, полуштофы, косушки и стаканы, расположенные шеренгами с необыкновенною симметриею, как-то странно бросающиеся в глаза посреди окружающегохлама и беспорядка. У самых дверей на лавке пыхтел и шипел неуклюжий самовар (сват Кирила также держал чай и закуску); подле него подымалась целая груда позеле-

невших, поистертых сухарей и баранок; далее тянулся косвенный, наподобие бюро, прилавок, покрытый чашками, мисками и блюдами с разною потребою для крестьянского брюха.

На безлюдье нельзя было жаловаться; мало того, что изба была полным-полнешенька, в дверях беспрестанно появлялись новые лица, так что сам Кирила едва поспевал управляться.

— Маюкончику на гривенничек — трое пьют! — кричал мельник, вводя двух мужиков, купивших у него муки.

— Эй, дядя Кирила, давай перемену!

— Аль рыбу-то поснедали? Что больно скоро?

— Малый, косушку!

— Эй, целовальник, а целовальник! или Максим, что ли, как те звать! — полуштоф на одного — вот и деньги...

Но Кириле не в диковинку были такие хлопоты; он не упускал даже случая перекинуться словом то с тем, то с другим из гостей своих.

— Эй, Ванюха! Что рыло-то не мочишь?.. Полно тебе глазеть по сторонам-то; спроси —

дадут... чего прикорнул?

— Да что, брат, денег нету.

— Ой ли? Аль все пропил?

— Пропил не пропил, а был грех!..

— Давно ли? Вот то-то оно и вышло: мужик простоволос год не пьет, два не пьет, а как бес прорвет, так и все пропьет!

— Эй, Трифон, опохмелиться, чай, надо — чего зеваешь? Коли алтын не хватает, так мукки, чай, привез?

— И то привез.

— Ну, давай ее сюда! Что будешь делать? Надо уважить кума... тащи!

— Да ты сколько даешь?

— Вестимо, ни твоей, ни своей души обижать не стану.

— А сколько?

— Ты пуд, а я косушку.

— Э! Косушку! Что, больно тороват?

— Ну, не одну, так две.

— Давай!

— Э! ге, ге, ге!.. Дорофей, а Дорофей! Что, брат, приуныл? Аль кручина какая запала?

— Да что, брат Кирила! Беда прилучилась, за свою же кобылу приплатился.

— Как так?

— А вот как: увели у меня на прошлой неделе кобылу.

— Не гнедую ли?

— Нет, саврасую. Я и туда и сюда — и след простыл, что ты будешь делать?.. Захожу к свату Ивану, а тот и надоумил меня: «Ступай, говорит, в Пурлово — знаешь Пурлово?» — говорит он мне — это сват-то Иван говорит. Знаю, говорю, Пурлово, как не знать! «Ну, так коли знаешь, так ступай, отыщи там Онисима-коновала; я знаю, — говорит сват Иван, — это его ребята балуют». Что ты станешь делать? Беда, да и только; взял красную, прихожу. «Ну, что?» — говорит. Да вот, мол, кобыла саврасая пропала; так не поможешь ли беде? «Как не помочь, говорит, ступай в осинник на завалишинский выгон, знаешь завалишинский выгон?» Знаю, говорю. «Ну, когда так, так и кобылу свою найдешь: она там траву, вишь, щиплет». Отдал деньги, прихожу: и вправду стоит моя кобыла!.. Так вот какая прилучилась беда — красную ни за что ни про что отдал.

— О, брат! Добро еще красную, видали и

больше; счастлив, что дешево отбоярился.

— Такая, право, беда! Хорошо, что деньги были, а то просто и кобылу поминай как звали... право-ну!

— Что, деньги, брат, не боги, дядя Дорофей, да, видно, много милуют.

Каляканье не мешало, однако, нашим мужичкам пропускать чарку за чаркою; вскоре почувствовали они сами, что уже сильно нагрузились. Всего страннее в этом деле было то, что мирный и тихий Федос проявил такую прыть и смелость, что многих трудов стоило Григорию и Сысою удержать его, чтоб он не вцепился в бороду долговязому пономарю, к которому получил он, ни с того ни с сего, непреодолимую ненависть. Наконец кое-как угомонили они его и уложили под навесом подле Петрухи, давно заснувшего сном богатырским. Расплатившись как следует, наши приятели (я говорю: приятели, ибо дядя Сысой и Григорий шли теперь, обнявшись крепко-накрепко, и не переставали лобызать друг друга в ус и бороду) вышли из кабака и, как ни покачивались на стороны, благополучно достигли дороги. Неизвестно, о чем толкова-



ли они; разумеется, много было всяких сердечных излиятий как с той, так и с другой стороны. Дядя Сысой и Григорий пойдут-пойдут, да и остановятся — остановятся да обнимутся. «Во как люблю, Гриша!.. Ей-бо... право...» — «Больно ты мне полюбился, дядя Сысой... Во... те... Христ...» — и опять продолжают путь тем же порядком.

Но счастье скоротечно; вскоре очутились они посреди улицы и волею-неволею должны были расстаться.

Нередко попадают дни в жизни человека, которые как бы исключительно пользуются правом наделять его неприятностями и неудачами. Точно такой же день, должно быть, пал на долю Григорью, ибо не успел он отворить ворота, как уже неприятно был поражен криком и бранью, раздававшимися у него в доме. Григорий остановился, обтер рукавом пот, капавший с лица, и стал прислушиваться; так! голосили Дарья и Василиса, но на кого? — бог их ведает! — Он поднялся по шаткому крылечку, выходявшему на двор, и вступил в избу. Василиса и Дарья стояли, каждая по концам стола, с поднятыми кулаками;

перед ними близ окна сидела Акулина; она, казалось, не старалась скрывать своего горя и, закрыв лицо руками, рыдала на всю избу... Слезы ручьями струились между сухощавыми, грязными ее пальцами. Зрителем этой сцены была старуха, мать Григория; свесив с печи седую голову, как-то бессмысленно глядела она на все, происходившее перед ее глазами.

— Чего горланите?.. Что еще? Ну?.. — закричал Григорий, бросая с сердцем кушак и шапку наземь.

— Да то же, что вот навязал нам на старости лет дьявола... Поди-тка сам теперь и ломайся с ним! — отвечала Василиса, указывая костлявою своею рукою на Акулину.

— Да, — подхватила Дарья, вся дрожа от злобы, — небось и руки-то понадсодишь — сунься только...

— Покою не дает, проклятая, — продолжала Василиса, — воет, знай, себе на всю избу. Послали было за хворостиной печь истопить, прошляндала без малого все утро... велели хлебы замесить — куды те!.. Ничего не смылит — голосит себе, да еще: пойду, говорит, к

барину...

Василисе и Дарье, по известным причинам, более, нежели остальной родне, ненавистна была женитьба Григория; тетки, как видно из слов их, решились даже прибегать в иных случаях к клевете, чтоб только навлечь на Акулину гнев мужа, парня, как ведали они, крутого и буйного.

— Да, — подхватила Дарья, приступая к племяннику, — к барину, говорит, пойду... он, говорит...

Но Григорию и этого было довольно; он оттолкнул тетку и подошел к жене.

— Что, окаянная? — произнес хмельной Григорий, страшно поваживая очами. — Что? Артачиться еще вздумала, а?

— Да, как бы не так! — голосила Василиса. — Много возьмешь словами.

— Вестимо, что ей даешь потачку... разве не видишь, она с умыслом воет? Думает: услышит...

— Э! Толковать еще тут! — бормотал сквозь зубы Григорий, хватая Акулину за волосы и повергая ее одним движением руки на пол.

— Вот так-то! — сказала Дарья. — Да здесь не замай ее, Гриша; стащи лучше в сени... неравно еще горшки побьешь...

Бешенство, казалось, обуяло Григория; тут все разом завожилось в голове его: и неволя, с которою он женился, и посторонние неприятности, и хмель, происшествие утра, — кровь путала его; сначала долго возил он бедную женщину взад и вперед по избе, сам не замечая, что беспрерывно стучался по углам и прилавкам, и, наконец, потащил ее вон...

— Эй, черти! — послышалось тогда в сеничках. — Чего расходились? Эй! Григорий, Гришка, а Гришка! — произнес тем же голосом седой как лунь мужик, входя в избу. — Э-э-э!.. Эхва! Как рано пошло размирье-то! Вчера свадьбу играли, а сегодня, глядишь, и побои... эхва!.. Что?.. Аль балует?.. Пестуй, пестуй ее, пусть-де знает мужа; оно добро...

— Чего, леший, надо?.. Проваливай, проваливай... черт, дьявол, собака!..

Это обстоятельство, казалось, еще больше остервенило Григория, и бог знает, что могло бы случиться с Акулиною, если б в ту самую минуту не раздалось в дверях звонкого хохота...

та и вслед за тем не явился бы на пороге Никанор Никанорович, барский ловчий.

Василиса и Дарья мгновенно исчезли за печуркою; Григорий тотчас же выпрямился, стряхнулся и подошел к нему.

— Добро здравствовать, Никанор Никанорыч, — произнес он, — зачем пожаловали?

— Ох!.. Дай, брат, Христа ради, душеньку отвести... О!.. О!.. Ай да молодые!.. Чем бы целоваться, а они лупят друг друга. Эх вы, простой народец!.. Хе, хе, хе...

— Балуется больно, Никанор Никанорыч.

— И куды, кормилец ты наш, ломлива! И не ведает господь, что за баба такая... — сказала Василиса, показывая голову из своей прятки.

— Ну, ну... ну, а я вот что: барин вас за чем-то спрашивает... Эй, тетка!.. Вынь-ка крыночку молочка — смерть хочется... Не могу сказать зачем, а только приказал кликнуть вместе с женою... Что ж ты, тетка, коли молока нет, так простокваши давай — не скупись... ну!

Григорий бросился сломя голову вон из избы; тетка не замедлила последовать его при-

меру.

Пока почетный гражданин барской дворни хлебал простоквашу, в каморе и в сенях происходила страшная суматоха.

— Зачем это барин-то кличет?

— Что такое прилучилось?..

— Эх, нелегкая его дергает!..

— А вот что: хочет, видно, на молодых поглядеть...

— Что, что?.. Ну, ты... рожу-то всплесни водой...

— Рубаху-то новую вынь. Долго, что ли, чертова дочь, возиться станешь?.. У! Как пойду...

— Гриша, я чай, полотенце надо для поклона?..

— Давай, тетка Дарья... хошь свое давай... Ишь, леший! Ничего не принес!..

— Вот ты покажи у меня только вид какой, только поморщся... я с те живой тогда сдеру шкуру...

— Все, что ли?

— Кажись, все...

— Ну, ступай!

Григорий и Акулина вышли из ворот и

вскоре очутились в барской передней.

— Поздравляю вас! — сказал Иван Гаврилович, подходя к молодым вместе с женою. — Поздравляю! Смотрите же, живите ладно, согласно, не ссорьтесь.

— Mon Dieu, qu'elle a l'air malheureuse!..[16]

— сказала барыня.

— Comment! Vous ne saviez pas que chez eux la jeune mariée doit pleurer pendant une semaine? mais c'est de riqueur...[17]

— Вот, возьмите, — продолжал он, подавая Григорию беленькую бумажку, — это вам жалует барыня... Мирно у меня жить, дружно... Ты во всем слушайся мужа своего... работай... Ну — бог с вами, ступайте.

Дорогою молодые повстречались с Никанором Никаноровичем.

— Зачем барин-то звал?

— Да вот пожаловал, вишь, денег...

— Покажи... Ах ты, черт этакий!.. Вашему, знать, брату мужику только и счастье... Нам небось никогда не перепадает... Э! Поди тут разбери: иной и службой не выслужит, а то другой шуткой вышутит... А что, брат Григорий, ведь угостить надо, ей-богу, надо... Пого-

ди, мы придем спрыснуть.

— Приходите.

— Сегодня и придем... а?..

— Ну, хоть сегодня... а что?

— Да завтра, чем свет, мы уезжаем в Питер с барином; так тут не до того... Смотри же, жди нас...

— Добро...

Утро и полдень протекли тихо и смирно в избе Григория, и если б не визит Никанора Никаноровича и еще двух лакеев, которые подняли ввечеру изрядную суматоху, можно было бы сказать, что водворившаяся так внезапно тишина не прерывалась ни разу и в остальную часть дня.



## VIII

*Тяжелей горы,  
Темней полночи  
Легла на сердце  
Дума черная!  
Кольцов*

Но семейство Силантия не могло прожить долее одного дня в ладу и согласии; знать уж под такую непокойною звездою родились почтенные члены, его составлявшие. С следующей же зарею пошли опять свалки да перепалки. Нечего и говорить, что Акулина была главным их предлогом. Трогательные убеждения Ивана Гавриловича при последнем свидании его с Григорием, казалось, произвели на последнего то же действие, что к стене горох, — ни более ни менее.

Но прежде, нежели приступлю к дальнейшему описанию житья-бытья горемычной моей героини, не мешает короче ознакомить читателя с новой ее роднею. Это будет недолго; она состоит всего-навсего из четырех главных лиц: Дарьи, Василисы, старухи, жены Силантия, и Григория. Первые две уже некото-

рым образом известны читателю из первой главы; прибавить нечего, разве то, что они считались еще с самых незапамятных времен ехиднейшими девками околотка.

Мать Григория была не менее их несносна, в другом только отношении. Брюзгливая, хвора, она никому не давала покоя своими жалобами, слезами и беспрестанным хныканьем; старуха вечно представляла из себя какую-то несчастную, обиженную и не переставала плакаться на судьбу свою, хотя не имела к тому никакого повода. Она постоянно проводила время лежа на печке; изменяла своему положению, залезая иногда в самую печку, когда уж невмочь подступало к пояснице. В этом да в оханье состояла вся деятельность ее жизни. «Хоть бы прибрал ее господь... ну ее... всем тягость только; провались она совсем...» — говаривали частенько тетки; но господь, видно, их не слушал: старуха жила, наполняя по-прежнему дом жалобами и канюченьем.

Силантия незачем присчитывать к семье; подобно большей части крестьян Ивана Гавриловича, он работал по оброку и являлся до-

мой из Озерок, деревни в тридцати верстах от Кузьминского, не иначе как только в большие праздники или же в дни торжественные, как то: свадьбы, мирские сходки, крестины и тому подобное. Остается, значит, сказать несколько слов о его сыне.

Григорий принадлежал сполна к числу тех молодцов, которых в простонародье именуют «забубёнными головушками». Статься может, он не удостоился бы такого прозвища, если б судьбе угодно было наделить Силантия не одним детищем, а целою дюжиною.

Сызмала еще во всем давали ему потачку. Залезал ли Гришка в соседний огород, травил ли кошек, топил ли собак (утехи, к которым с первых лет обнаруживал он большую склонность) — все сходило ему с рук, как с гуся вода. «Что с него взять? — говорил Силантий. — Малехонек еще, ничего не смыслит; побалуется, побалуется, да и перестанет...» Если случилось соседу поймать парнишку в какой-нибудь проказе и постегать его, Силантий тотчас же заводил с соседом ссору, брань, часто оканчивавшуюся дракой, не помышляя даже о том, происходило ли то в глазах озорника

сына. «Скинь-ка шапку да постучи-ка себя в голову-то, не пуста ль она, — твердили Силантию, — что ты его добру-то не наставишь?.. Пес ли в нем будет, коли таким вырастет». — «А тебе что? — отвечал обыкновенно кузнец. — Знай своих; про то мое дело ведать, будет ли в нем прок; небось, не хуже твоих выйдет». Шаловливость молодого парня могла бы, конечно, пройти с годами и не возбудить в нем более дурных наклонностей, если б к зрелому возрасту не доконала его окончательно фабричная жизнь. В больших деревнях и селах Средней России, наделенной, как известно, не слишком-то плодородною почвою, мужики искони занимаются ткачеством. Занятие это дает им возможность заменять иногда с лихвою недоимки хлеба и частые неурожаи.

Силантий, как оброчный крестьянин, а следовательно, наблюдавший только за собственными своими барышами, почел выгоднейшим отослать сына в соседнюю деревню на фабрику, а для обработки тощей, плохо удобренной земли своей нанял батрака.

Нет сомнения, что Григорию было гораздо

привольнее щелкать челноком в теплой, просторной избе, посреди многочисленного общества таких же, как и он, лихих ребят, чем тащиться в зной и дождь за тяжелой сохой. Дело, однако, в том, что пролетные эти головушки развили в нем окончательно дурные семена, посеянные еще смолоду. Вскоре Григорий не замедлил отличиться в разных проделках, стоивших ему не раз прогулок к становому и управляющему. Одна из таких проделок достойна даже особенного замечания. Раз как-то Григорий и другой фабричный повстречались на дороге с огородником, везшим на базар арбузы. Огородник спал мертвецки на своем возу. Молодцам приглянулся такой случай истинною находкою. Они смекнули поживу и недолго затруднялись, как спроворить дело. Григорий мигом очутился под возом с ножом в руках и принялся прорезывать отверстие в лубочном дне телеги. Проползши таким образом на карачках с версту, он благополучно довершил зачатое предприятие. По мере того как арбузы сыпались один за другим, товарищ Григория скатывал их в небольшую лощинку, огибавшую дорогу. Бед-

ный огородник, должно быть, хлебнул лишнее, ибо спал так крепко, что доехал до базара, не заметив пропажи. Между тем молодцы успели притащить из села телегу, навьючить на нее добычу и тронуться в путь. Они не откладывали дел своих в долгий ящик и потому решили немедленно ехать на базар, не сообщив в первом пылу удачи, что такая поспешность могла как раз накликать им беду. Так и случилось. Григорий наткнулся на мужичков Кузьминского; пошли толки, намеки, пересуды; каждому казался товар подозрительным. В Кузьминском не было огородов. Тут, как на беду, пронеслись слухи, что обокрали на дороге огородника; вскоре сам он явился налицо. Тотчас и сведали дело. Молодцов схватили, скрутили по рукам и по ногам и повели к заседателю, присутствующему на базаре для наблюдения порядка; заседатель, отпотчевав, как водится, добрым порядком, отправил их к становому. Неведомо, что произошло у последнего; достоверно только то, что из рук его так же трудно выпутаться, как из рук первого. Пришлось поплатиться спиною.

Ко всем дурным наклонностям, которыми так щедро снабдила Григория фабричная жизнь, она поселила в нем еще расположение к ерофеичу — средству, без которого никак не обходится простолюдин, успевший уже нащупать в сапогах своих лишние гроши. Словом, Григорий был изрядным негодяем, когда отец вызвал его на пашню. Не понаторевшись смолоду в трудностях полевых работ, быв притом лентяем по натуре, Григорий вышел никуда не годным мужиком. «Непокой пашне, коли мужик оставил шашни», — говорит пословица; и действительно, вместо пользы принес он в дом одно размирье, ибо только и делал, что ссорился да ругался с матерью и тетками.

Акулина, переступив из дома скотницы Домны в семью кузнеца, попала, как говорится, из огня да в полымя. Есть люди, которым как бы предназначено судьбою целую жизнь мыкать горе. Мы уже видели, что бедная женщина сильно не приходилась по нраву новой родне своей; неволя, с какою попала она замуж за Григория, имевшего в виду другую, богатую, «здоровенную» бабу, была одною из

главных причин всеобщей к ней ненависти. А ведь стоит только запасть в душу человека невежественного предубеждению, стоит только раз напитаться ей злобою — и уже ничем, никакими доводами и убеждениями, никакими силами не вытеребишь их оттуда. И сострадательность и всякое другое побуждение пошло тогда к черту: все черствеет в ней и притупляется; овладевшее ею раз чувство как бы все более и более укрепляется и, укрепляясь, глушит в ней остальное. Первый день замужества Акулины, казалось, вполне выразил всю ее жизнь, все, что ожидало ее в будущем. Хотя такие побыты[18] и доходили до соседей, но никто, однако, не обнаруживал явного к ней участия; каждый из них был проникнут убеждением, что, правда, худо бабе у мужа, а как без мужа, так и того было бы хуже. Зато вся деревня единодушно далась диву, когда пронесся слух, что Акулина, вместо того чтоб умереть родами (чего ожидали соседки, ведавшие домашнее жите-бытье ее), родила Григорию дочку, да еще, как рассказывал пономарь, такую крепенькую, что сам батюшка на крестинах немало нахвалил-



ся.

Если уж младенец так приглянулся попу и пономарю, то чем же должен был он казаться бедной матери? Акулина как бы ожила; что-то похожее даже на радость мелькнуло в глазах, знавших прежде одни только слезы, и на печальном лице ее показалась небывалая до толе улыбка. Она не обращала уже теперь никакого внимания на оскорбления Василисы и Дарьи; ей нипочем были и побои Григорья и распри всего семейства. Все, что вложено было в ней чувства, все сосредоточивалось на милом ее младенце, — далее она ничего не видела, ко всему казалась равнодушною, бесчувственною. Но это-то равнодушие и запропастило вконец голову бедной бабы. Григорий не мог сносить его. Он приходил в бешенство, видя, что слова и побои не действовали более на робкую и покорную жену; словом, жизнь Акулины стала еще хуже прежней.

Встречаются иногда люди с характером кротким и нежным в такой степени, что существование их кажется как-то неполным, неопределенным, вряд ли способным даже проявиться без подпоры или влияния друго-

го, более мощного и твердого характера. Им не чужды самые сильные страсти, порывы самые пламенные и энергические; но все это закрыто в них под непроницаемую пеленою какой-то робости и застенчивости, которая мешает им выказываться наружу и только глушит их. Оба эти чувства у иных так сильны, что ни воспитание, ни положение в обществе, ни даже самое общество не в состоянии их исторгнуть. Жизнь такого рода людей может пройти, невзирая ни на какие обстоятельства, так же тихо и спокойно, как песок стеклянных часов. Все способен вынести и претерпеть такой человек; терпение и смирение кажутся его уделом, его назначением.

Но являются случаи, где то же самое робкое существо, по-видимому, лишенное воли и силы, проявляет вдруг твердость воли, какою одарены только редкие, на диво сплоченные натуры. Так бывает, когда доведут до предела вложенные ему в душу кротость и терпение. Все силы, тратившиеся понемногу на пути жизни, оставшись в нем непочатыми, нетронутыми, как бы заодно пробуждаются тогда и восстают всею своею массою.

Акулине пришло невмочь терпеть долее. Видя, что ни покорность, ни труды, ни смирение — ничто не действовало, она решилась идти наперекор не только мужу, но даже всей родне своей, перед которой незадолго еще так трепетала. Заметив, что злоба их усилилась от равнодушия, с каким старалась она выносить ее, Акулина употребила все свое старание, чтоб казаться еще спокойнее и равнодушнее. Мало того: она дала себе клятвенное обещание хранить молчание со всеми домашними и никогда, ни в каком случае, хотя бы такая решимость могла стоить ей жизни, не произносить перед ними ни единого слова. Она как бы вдруг онемела.

# IX

*Ах, не жаль-то мне роду, племена,  
Не жаль-то мне родимой  
сторонушки:  
Мне жаль-то малое дитяtko;  
Останется дитяtko малешенько,  
Малешенько дитяtko, глупешенько.  
Натерпится холода и голода.  
Русская песня*

*Ах ты, гнутое деревцо, черемушка,  
Куда клонишься, туда склонишься!  
То же*

Прошло четыре года...  
Кому бы случилось видеть Акулину прежде, в первые дни ее замужества, тот, конечно, нашел бы в ней по прошествии этих четырех лет большую перемену. Иной вряд ли даже мог бы узнать ее. Она казалась состарившеюся целыми десятью годами. Оставалась только сухая, отцветшая кожа да страшно выгладывавшие кости. Бледное лицо, изнуренное тяжкою жизнью и безвременьем, покрылось морщинами; скулы сильно высту-

пили под мутными, впалыми глазами, и вообще по всей физиономии проскальзывала какая-то ноющая, неотразимая грусть, виднелось что-то столь печальное и унылое, что нельзя почти было отыскать в ней и тени былого. Поступь ее стала медленна; идучи, она беспрерывно останавливалась, прикладывала тощую свою руку к груди, и вслед за тем слышался тяжелый, жестокий, долго не прерывавшийся кашель. Она видимо чахла.

С некоторых пор чаще стали посылать Акулину на реку, выбирая для этого, как бы невзначай, сырую и ненастную погоду; заметно сваливались на нее самые трудные и утомительные хозяйственные работы; при всем том Василиса и Дарья не упускали случая раззадоривать Григория разными побытами, зная наперед, что злоба его неминуемо должна была вымещаться на плечах безответной Акулины. Последнее обстоятельство было тем менее затруднительно для теток, что Григорий, выпивавший прежде стакан-другой без всякого позова, так только, ради компанства, успел в эти четыре года уже свыкнуться, сдружиться окончательно с ерофеичем — пил

мертвую и частехонько бывал пьян как стелька. Утешительная сторона всего этого была по крайней мере та, что старания теток оказались небесполезными. Акулина занемогла не на шутку. В первое время вряд ли даже предстояла ей надежда отделаться от смерти.

Рассказывать обстоятельно все то, что пертерпела она в продолжение болезни, по-моему, лишнее: читателю и без того легко смекнуть, каково ей было лежать в душной камере под неутомимым надзором и ухаживанием Василисы и Дарьи.

Неизвестно как, откуда и чрез какие добродетельные уста, но только состояние Акулины вскоре дошло до слуха жены управляющего. К счастью, последняя была женщина добрая, простая; она поспешила к ней на помощь.

Следствием ли лекарственных разных снадобий, которыми поили больную, или просто помогла сама натура, но Акулине стало, однако, гораздо легче. Мало-помалу она начала даже поправляться, к несказанной досаде домашних, желавших ей от всей души царствия

небесного и иной, лучшей жизни. Им ведомо было более, нежели кому другому, все, что терпела горемыка на белом свете. Сострада-тельность их не замедлила вскоре обнару-житься в полной своей силе. Распространять-ся не стану, ограничусь описанием одного случая, который выразит нетерпеливость те-ток наделить племянницу лучшею долею, в чем, как увидит читатель, они вполне успели.

Акулина не одумалась еще после болезни и находилась в том неопределенном состоя-нии, когда сам врач не может решить: жизнь или смерть сулит судьба пациенту. Она едва передвигала ноги.

Осень, или, как выражаются в простонаро-дье, листопад приближался на пегой своей кобыле к концу. Деревья обнажились. Места-ми по улице и дворам сверкала гололедица; воздух становился сух и холоден.

В такой-то день, после обеденного време-ни, к Григорью явился староста. По очереди следовало кому-нибудь из домашних его идти досушивать чечевицу, — ибо подступила по-ра сеять.

В выборе затруднялись недолго; что ду-

мать: Акулина и так провалялась целых два месяца; к тому же Василиса и Дарья формально объявили, что им недосуг, что и без того работают за всех и не пойдут — приходи хоть сам управляющий. Перекорять теткам было дело мудреное, притом отнюдь не касалось старосты: ему все одно, тот ли, другой ли, — был бы исполнен наказ, а там пусть себе требесят бабы сколько им взгодно; в домашние дразги никому входить не приходится.

Акулина молча поплелась вон из избы вместе с маленькою своею Дунькою. Никогда, ни в каком случае не разлучалась с нею Акулина. Сам ребенок, казалось, искал этого: где только ни встречалась мать, там уж непременно виднелась и дочка. Стояла ли стужа, шел ли дождь, пекло ли солнце — всюду тащилась девчонка, цепляясь то с той, то с другой стороны за понёву матери. Итак, взяв Дуньку за руку (она не в силах еще была поднять ее на руки, как имела обыкновение), Акулина вступила на просторный двор и усеелась перед циновками, на которых сушилась чечевица.

Но не в добрый, знать, час вышла хозяйка



Григория. Началось с того, что она упустила из вида курицу, забежавшую на одну из цы-  
новок, и управляющий, проходивший в то  
время мимо, загнул ей крепкое словцо; потом  
стряхнулось на нее и другое горе: она почув-  
ствовала вдруг, что не может шевельнуться,  
ибо все члены и особенно ноги тряслись, как  
в лихорадке, от прохватившей их насквозь  
стужи.

Акулина поспешила закутать в дырявый  
жупан Дуньку и усадить ее так, чтобы не за-  
студился младенец; сама же кой-как свернула  
ноги под понёву да прикуталась в сорочку:  
другого одеяния на ней не было (она никогда  
не имела кожуха или тепленького овчинного  
тулупчика). И то даже, в чем вышла она, гля-  
дело как-то непригоже: всюду, и на спине и  
на плечах, виднелись прорехи, которые то и  
дело оцеливали кость да посиневшее от хо-  
лода тело.

Уверившись еще раз в том, что Дуньку не  
прошибала дрожь, Акулина принялась гля-  
деть на двор.

Но печальная картина расстилалась перед  
нею.

Дощатый забор, ограждавший почти весь двор, местами покривился набок, местами совсем повалился и выказывал то поблекший кустарник, то потемневшие купы полыни с отощавшими стеблями и верхушками; с одной стороны тянулся непрерывный ряд сизых, однообразных амбаров и конюшен с высокими кровлями, осененными круглыми окнами, из которых торчало хлопьями серое дикое сено. Далее возносились над забором скирды убранного хлеба, покрытые бледною соломой; между ровными их рядами виднелась речка, какого-то синего, мутного цвета, за нею стлалось неоглядное, словно пустырь, поле; на нем ни сохи, ни птицы — чернела одна только гладко взбороненная почва. Остальную часть двора занимали барский сад и палисадник с выглядывавшими из-за них бельведерами и крышами флигелей. Листья с деревьев осыпались и темными грудями лежали в аллеях и близ ограды. Кое-где мелькала разве березка с сохранившеюся на ней зеленью, казавшеюся издалека как бы забрызганной золотистою, рыжеватую охрою. Сучья, стволы растений, кровли и все окрестные предметы

как-то резко, бойко вырезывались на бледном, почти белом небе, что придавало картине вид холодный и суровый. Воздух был неподвижен, сух и прохватывал члены нестерпимым ознобом.

Время от времени раздумье Акулины прерывалось проходящими мимо конюхом или дворовою бабою; застывшая земля издавала какой-то металлический звук под их стопами; и далеко отдавались шаги в опустевшем пространстве. Иной раз она поднимала голову и смотрела пристально в ясное, бледное небо; там, в беспредельной вышине, проносились к востоку длинные вереницы диких журавлей и жалобным, чуть внятным криком своим возмущали на миг безжизненность, всюду царствовавшую. Неведомо, какие мысли занимали тогда Акулину; сердце не лукошко, не прошибешь окошко, говорит русская пословица. Она недвижно сидела на своем месте, по временам вздрагивала, тяжело-тяжело покашливала да поглядывала на свою дочку — и только... Впрочем, из этого следует, что бабе было холодно, что болела у нее слабая грудь, а наконец и то, что ее беспокоило

состояние собственного ребенка — чувство весьма обыкновенное, понятное каждому.

Раздумье Акулины было внезапно прервано чьим-то знакомым голосом; она обернулась.

Перед нею стояла жена управляющего.

— Как! Акулина! — сказала она с заметным удивлением. — Зачем ты здесь?.. Ведь я же говорила твоим, чтоб не выпускать тебя раньше трех недель... Как это можно!.. Кто послал тебя?..

— Староста...

— Староста! Ах он, бездельник!.. Да чего же смотрели твои-то?.. А? Мужа разве не было дома?..

Акулина молчала.

Жена управляющего повторила вопрос.

Акулина не прерывала молчания.

— Разве ты чувствуешь себя лучше?.. Ну, что? Где теперь болит?

— Тут... все тут, — произнесла хрипло Акулина, прикладывая окоченевшие пальцы к тощей, посиневшей груди своей; вслед за тем послышался, длинный, прерывистый кашель.

— Ай, ай!.. Нет, нет, сиди-ка дома. Как это

можно! — говорила жена управляющего, глядя на Акулину пристально и с каким-то жалостным выражением в лице. — А, да какая у тебя тут хорошенькая девочка! — продолжала она, указывая на Дуньку и думая тем развеселить больную. — Она, кажись, дочка тебе?.. То-то; моли-ка лучше бога, чтоб дал тебе здоровье да сохранил тебя для нее... Вишь, славенькая какая, просто чудо!..

Она подошла к ребенку и погладила его по голове.

Рыдание, раздирающее, ужасное, вырвалось тогда из груди Акулины; слезы градом брызнули из погасавших очей ее, и она упала в ноги доброй барыни...

— Что ты?.. Что ты?.. Что с тобою?.. — говорила та, сияясь приподнять бабу. — Успокойся, милая! О чем кручиниться?.. Бог даст, здорова будешь... перестань...

— Матушка!.. Матушка... ты... ведь ты одна... одна приголубила мою сиротку... — И она снова повалилась в ноги доброй барыни.

Жена управляющего каждодневно навещалась в избу Григория. Истинно добрая жен-

щина эта употребляла все свои силы, все свои слабые познания в медицине, чтобы только помочь Акулине. Она не жалела времени. Но было уже поздно: ничего не помогало. Больной час от часу становилось хуже да хуже.

Наступившая зима, морозы, растворяемые беспрерывно на холод двери, против которых лежала Акулина, сильно к тому способствовали. Наконец ей совсем стало невмочь. Григорий сходил за попом. После обычного обряда отец Петр объявил присутствующим, что божьей воли не пересилить, а больной вряд ли оставалось пережить ночь. Ее так и оставили.

В избе смеркалось. Кругом все было тихо; извне слышались иногда треск мороза да отдаленный лай собаки. Деревня засыпала... Василиса и Дарья молча сидели близ печки; Григорий лежал, развалившись, на скамье. В углу против него покоилась Акулина; близ нее, свернувшись комочком, спала Дунька. Стоны больной, смолкнувшие на время, вдруг прервали воцарившуюся тишину. Вздуги огня и подошли к ней.

— Что тебе?.. Аль прихватило?.. — сказала Дарья.

Но Акулина ничего не отвечала и только вперила угасавшие очи на мужа; долго смотрела она на него и, наконец, произнесла прерывающимся голосом: «Григорий...» Василиса и Дарья перемигнулись и вышли на двор.

— Ну, что?.. — отвечал тот, подходя ближе к жене...

— Григорий!.. — продолжала Акулина тем же замирающим голосом. — Григорий... Григорий... — У нее не хватало сил сказать больше.

— Ну, слышу; что же надо?

Она положила руку на спавшего возле нее ребенка и произнесла протяжно:

— Не бей... ее... не бей... за что?!

Видно было, что она хотела что-то еще сказать, но речь ее стала уже мешаться и вышла нескладна; мало-помалу звуки ее голоса слабели, слабели и совсем стихли; смутные, полуоткрытые глаза не сходили, однако, с мужа и как бы силились договорить все остальное; наконец и те начали смежаться... Григорий взглянул на нее еще раз, потом подошел к полатам, снял с шеста кожух, набросил его на плечи и вышел из избы.

Дарья и Василиса попались ему в сеничках.

— Ну, что? — произнесли тетки почти в одно и то же время.

— Отходит, — отвечал Григорий, натягивая узкий рукав на мощную свою руку.

Когда они вступили в избу, Акулины уже не было на свете.

На другой день рано утром отец Петр явился к Григорию в сопровождении дьячка, чтоб совершить панихиду над грешным телом жены его. Когда панихида была окончена, тело Акулины снесли в каморку, где назначено ему было пролежать еще до похорон.

...Вьюга не утихала; резкий морозный ветер не переставал наметывать груды снега и, казалось, еще усиливался с каждым часом; но Григорию нипочем была стужа и вялица: он никак не соглашался отложить похорон. Немало твердили ему домашние: «Выжди немного; ишь какая посыпала погода, зги не видно. Эй, в сугробе засядешь!..» Григорий не слушался и норовил лишь, как бы скорее спровадить покойницу. По колени в снегу, он уже припрягал тощую клячу к оглоблям роз-



вальней, на которых лежал длинный, живьем сколоченный гроб Акулины. Василиса и Дарья глядели с крылечка на его приготовления. Из избы слышались время от времени чьи-то стоны и вопли...

— Что не уймете пострела-то? — сказал наконец Григорий. — Ишь как воет...

— И то в каморку заперли, не унимается, — отвечала Дарья.

Когда все было готово, кляча взнуздана, а гроб привязан веревками к розвальням, Григорий замотал поводья к перекладине навеса и поплелся в избу. Вступив в нее, он снял с полки небольшой штоф, заткнутый грязною ветошью, и принялся цедить из него себе в горло; натянувшись вдоволь, он поспешил возвратиться к делу.

— Что ты, Гриша, пораскраснелся? — заметила Василиса, не покидавшая с сестрою прежнего своего места. — Выпил, что ли, для куража?..

— Маленько было, — отвечал тот, — ну, отворяйте же ворота...

Он приладился на край гроба, нахлобучив на глаза шапку, гаркнул: «Эй вы, повали-

вай!», махнул вожжами и понесся по улице.

Вьюга злилась по-прежнему, дорогу заметало, целые горы снега рассыпались ему на голову. Григорий, ошеломленный вином, ни на что не обращал внимания и знай только хлестал и стегал несчастную свою клячу, которая то и дело вязла в оврагах... Вдруг, посреди завывания ветра и шума метелицы, ему послышались крики; он оглянулся: в мутных волнах между сугробами бежала сломя голову Дунька. Григорий приподнялся на облучке и погрозил ей. «Пошла, пострел, домой... пошла домой!.. Замерзнешь! Пошла домой!» — кричал он, принимаясь с большим еще остервенением колотить свою клячу. Хмель, благо морозно было, успел уже обуть его; удары сыпались за ударами, лошадь несла его во всю мочь; изредка оборачивался Григорий назад... «Пошла домой, пострел!.. Пошла домой!» — горланил он; но ребенок не переставал бежать за ним с тем же криком и воплем. «Пошла домой! Вот я те... окаянную!» — продолжал отец. Дунька все бежала да бежала...

А вьюга между тем становилась все сильнее да сильнее; снежные вихри и ледяной ве-

тер преследовали младенца, и забивались ему под худенькую его рубашонку, и обдавали его посиневшие ножки, и повергали его в сугробы... но он все бежал, все бежал... вьюга все усиливалась да усиливалась, вой ветра становился слышнее и слышнее; то взрывал он снежные хребты и яростно крутил их в замутившемся небе, то гнал перед собою необозримую тучу снега и, казалось, силился затопить в нем поля, леса и все Кузьминское со всеми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами...

1846

# Примечания

По(а)нёва — шерстяная домотканая клетчатая или полосатая юбка.

[^^^]

Коты — женская обувь, полусапожки с суконной оторочкой

[^^^]

# 3

Коклюшки — точенные палочки для намотки ниток и плетения кружев

[^^^]

# 4

Маркиза — наружный навес у окна из бумажной материи, для защиты от солнца

[^^^]



Жан (фр.).

[^^^]

# 6

У нее очень глупый вид (фр.).

[^^^]

Моя милая (фр.).

[^^^]

# 8

— Я же вам сказал, что она глупа (фр.).

[^^^]

— Да, но вы задаете ей такие вопросы... бедная девушка! (фр.).

[^^^]

Милый друг (фр.).

[^^^]

Тавлинки — плоские табакерки из бересты.

[^^^]

Гибанцы — крендели, витушки.

[^^^]



Саламата — кисель или жидкая каша из муки с салом.

[^^^]

Пенник — крепкое хлебное вино.

[^^^]

Жемки — пряники.

[^^^]

Боже, какой у нее несчастный вид!..(фр.).

[^^^]

Как! Разве вы не знаете, что новобрачная у них должна плакать целую неделю! Таков обычай... (фр.).

[^^^]

Побыты — слухи.

[^^^]